

891

Т-87

Тургенев

КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 113 -

И. С. ТУРГЕНЕВ

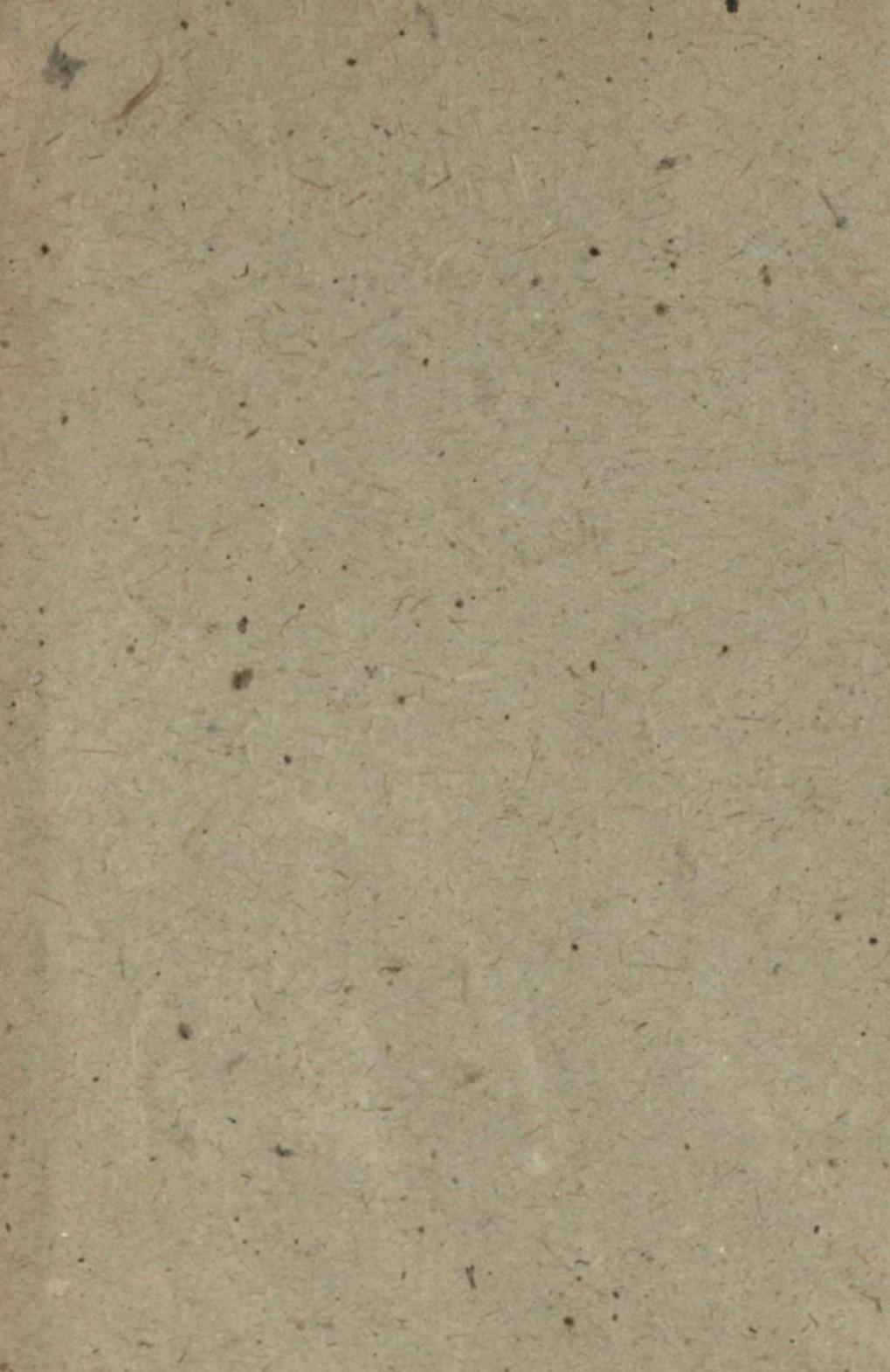
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

84P5-49
T87

42078.



проверка 1928 г.

46 Тури
84950
T 87

КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 113 -

И. С. ТУРГЕНЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ и ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

89
выбрал и подготовил к печати

Н. Л. Бродский

T 87



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1923 ПЕТРОГРАД

3 3

055 г.

МЧЧ

1962 г.

ПРОВЕРЕН 2009

1972 г.

ПРОВЕРЕН 2014

КУПЛЕНО

Печатается по изданию И Глазунова.

г. 7—III—23 г.

42078



Фонд редкой книги
ТУРГЕНИАНА

Главлит №. Гиз. 4502

Тираж 10000.

27 типография „Красная Печать“, „Мосполиграф“. Москва, Остоженка, 10.

I.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

Вместо вступления.

Около пасхи 1843 года в Петербурге произошло событие, и само по себе крайне незначительное, и давным-давно поглощенное всеобщим забвением. А именно: появилась небольшая поэма некоего Т. Л., под названием «Параша». — Этот Т. Л. был я; этою поэмой я вступил на литературное поприще. С тех пор прошло почти двадцать пять лет, и вот, по поводу нового издания моих сочинений, мне захотелось побеседовать с читателем и передать ему хотя часть из тех воспоминаний, которые накопились у меня в течение четверти века... *Grande aevi spatium!* — Не обещаю читателю ничего очень нового, ничего «пикантного»; предуведомляю его также, что многое должно будет остаться невысказанным или недосказанным. За причинами подобных недомолвок ходить недалеко. Все мы знаем, что многое изменилось с 1843 года, многое исчезло совершенно... но не все еще связи порваны между нынешним настоящим и тогдашним прошедшим; много лиц осталось в живых — и не одни лица уцелели. А правду, беспристрастную и всестороннюю правду можно высказать только о том, что окончательно сошло со сцены. Потому я решаюсь ограничиться несколькими отрывками, несколькими отдельными главами из моих воспоминаний; внутреннее един-

ство, я надеюсь, скажется в них; но от наружного единства, от последовательности рассказа отказываюсь заранее. Считаю, однако, нужным сообщить предварительно несколько данных, касающихся лично до меня и определяющих исходную точку моей деятельности.

Окончив курс по филологическому факультету С.-Петербургского университета в 1837 году, я весною 1838 года отправился доучиваться в Берлин. Мне было всего 19 лет; об этой поездке я мечтал давно. Я был убежден, что в России возможно только набраться некоторых приготовительных сведений, но что источник настоящего знания находится за границей. Из числа тогдашних преподавателей С.-Петербургского университета не было ни одного, который бы мог поколебать во мне это убеждение; впрочем, они сами были им проникнуты; его придерживалось и министерство, во главе которого стоял граф Уваров,—посылавшее на свой счет молодых людей в немецкие университеты. В Берлине я пробыл (в два приезда) около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, назову: в течение первого года—Н. Станкевича, Грановского, Фролова; в течение второго—столь известного впоследствии М. Бакунина. Я занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. В доказательство того, как недостаточно было образование, получаемое в то время в наших высших заведениях, приведу следующий факт: я слушал в Берлине латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бёка,—а на дому принужден был зубрить латинскую грамматику и греческую, которые знал плохо. И я был не из худших кандидатов.

Стремление молодых людей—моих сверстников—за границу напоминало искальвание славянами начальников у заморских варягов. Каждый из нас точно так

же чувствовал, что его земля (я говорю не об отечестве вообще, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет. Могу сказать о себе, что лично я весьма ясно сознавал все невыгоды подобного отторжения от родной почвы, подобного насильственного перерыва всех связей и нитей, прикреплявших меня к тому быту, среди которого я вырос.... но делать было нечего. Тот быт, та среда, и особенно та полоса ее, если можно так выразиться, к которой я принадлежал—полоса помещичья, крепостная,—не представляли ничего такого, что могло бы удержать меня. Напротив: почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало во мне чувства смущения, негодования, отвращения, наконец. Долго колебаться я не мог. Надо было либо покориться и смиренно побрести общей колеей, по избитой дороге; либо отвернуться разом, оттолкнуть от себя «всех и вся», даже рискуя потерять многое, что было дорого и близко моему сердцу. Я так и сделал... Я бросился вниз головою в «немецкое море», долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн—я всетаки очутился «западником», и остался им навсегда.

Мне и в голову не может притти осуждать тех из моих современников, которые другим, менее отрицательным путем достигли той свободы, того сознания, к которым я стремился... Я хочу только заявить, что я другого пути перед собой не видел. Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был—крепостное право. Под этим именем я собрал и со-

средоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить. И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. «Записки Охотника», эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные, этюды были написаны мною за границей; некоторые из них—в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет? Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете;—знаю только, что я, конечно, не написал бы «Записок Охотника», если б остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той неприступной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но мало-сведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно ее связывают. Не составляет ли наша славянская раса—в глазах филолога, этнографа—одной из главных ветвей индо-германского племени? И если нельзя отрицать воздействия Греции на Рим, и обоих их вместе—на германо-романский мир, то на каком же основании не допускается воздействие этого—что ни говори—родственного, однородного мира на нас? Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой—нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в

противном случае, за плохенький народец! Я сужу по собственному опыту: преданность моя началам, выработанным западною жизнью, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения—помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу.

А впрочем—«*basta così*»; довольно распространяться о собственной особе; буду говорить о других. Это интереснее и для читателя, и для меня самого. Позволяю себе заметить, что отрывки из моих воспоминаний, которые я решаюсь представить на суд публики, следуют друг за другом в хронологическом порядке и что первый из них относится ко времени, предшествовавшему 1843 году.

Баден-Баден.

1868 г.

Литературный вечер у П. А. Плетнева.

В начале 1837 года, я, будучи третьекурсным студентом С.-Петербургского университета (по филологическому факультету), получил от профессора русской словесности, Петра Александровича Плетнева, приглашение на литературный вечер. Незадолго перед тем я представил на его рассмотрение один из первых плодов моей музы—как говорилось в старину—фантастическую драму в пятистопных ямбах, под заглавием «Стенио». В одну из следующих лекций, Петр Александрович, не называя меня по имени, разобрал, с обычным своим благодушием, это совершенно нелепое произведение, в котором с детской неумелостью выражалось рабское подражание Байроновскому Манфреду. Выходя из здания университета и увидав меня на улице, он подозвал меня к себе и отечески пожурил меня, при чем, однако, заметил, что во мне что-то есть! Эти два слова возбудили во мне смелость отнести к нему несколько стихотворений; он выбрал из них два, и год спустя напечатал их в «Современнике», который унаследовал от Пушкина. Заглавия второго не помню; но в первом воспевался «Старый Дуб», и начиналось оно так:

Маститый царь лесов, кудрявой головою
Склонился старый дуб над сонной гладью вод,—и т. д.

Это первая моя вещь, явившаяся в печати, конечно—без подписи.

Войдя в переднюю квартиры Петра Александровича, я столкнулся с человеком среднего роста, который, уже надев шинель и шляпу и прощаясь с хозяином, звучным голосом воскликнул: «Да! да! хороши наши министры! нечего сказать!»—засмеялся и вышел. Я успел только разглядеть его белые зубы и живые, быстрые глаза.

Каково же было мое горе, когда я узнал потом, что этот человек был Пушкин, с которым мне до сих пор не удавалось встретиться; и как я досадовал на свою мешкотность! Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то в роде полубога. Мы, действительно, поклонялись ему. Поклонение авторитетам в последнее время подвергалось, как известно, насмешкам, осуждению, чуть не проклятию. Признаться в нем—значит заклеймить себя пошлецом на веки. Но позволю себе заметить нашим строгим молодым судьям, что не худо бы сперва условиться в значении слова «авторитет». Авторитет авторитету—розь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он был богат или важен, или очень большой чин имел; это обаяние на нас не действовало,—напротив... Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был *вождь*; и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойствен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышена она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице—в наставнике. Вся разница между теперешними и тогдашними поколениями состоит, быть

может, в том, что мы не стыдились нашего идола и нашего поклонения, а напротив, гордились и тем, и другим. Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может называться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее добиться надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а начать это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя. Впрочем, надо и то принять в соображение, что нынешние молодые люди имеют иные понятия, иные воззрения; если б, например, в наше время кто-нибудь из нашей среды вздулся требовать для молодого поколения «уважения», мы бы, наверное, на смех его подняли—мы бы даже обиделись; «это хорошо для стариков», подумали бы мы, «а нам нужен только простор—да и тот мы себе завоюем». Кто тут прав, кто виноват—из прежних или нынешних—решить не берусь; в сущности—стремления молодежи всегда бескорыстны и честны; и цели их остаются те же, только имена меняются. Быть может, при большей гражданской развитости современных юношей, при большей затруднительности их задач—они, точно, нуждаются в уважении.

Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз—за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Он стоял у двери, опираясь на косяк, и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое, небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых, крупных зубов, висячие бакенбарды, темные, желчные глаза под высоким лбом почти без бровей—и кудрявые волосы.. Он и на меня бросил беглый взор; бесцеремонное внимание, с которым я

уставился на него, произвело, должно-быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом—вообще, он казался не в духе—и отошел в сторону. Несколько дней спустя, я видел его лежащим в гробу—и невольно повторял про себя:

Недвижен он лежал... И странен
Был томный мир его чела...

Но возвращаюсь к рассказу.

Петр Александрович ввел меня в гостиную и представил своей (первой) жене, уже не молодой dame, болезненного облика, и очень молчаливой. В комнате, кроме ее, сидело человек семь или восемь... Все они теперь уже покойники; из всего собравшегося тогда общества—в живых я один. Правда, с тех пор прошло тридцать лет слишком... Но в числе гостей были люди молодые.

Вот кто были эти гости.

Во-первых: известный *Скобелев*, автор «Кремнева», впоследствии комендант с.-петербургской крепости, всем тогдашним петербургским жителям памятная фигура с обрубленными пальцами, смышенным помятым, морщинистым, прямо солдатским лицом и солдатскими, не совсем наивными ухватками—тертый каляч, одним словом. Потом—автор «Сумасшедшего Дома»—*Воейков*, хромоногое и как бы искалеченное, полуразрушенное существо, с повадкой старинного под'ячего, желтым, припухлым лицом и недобрый взглядом черных, крошечных глаз; потом—ад'ютант в жандармском мундире, белокурый, плотный мужчина с разноцветными (так называемыми арлекинскими) зрачками, с подобострастным и пронзительным выражением физиономии,—некто *Владиславлев*, издатель известного в свое время альманаха: «Утренняя Заря»

(ходили слухи, что подписка на этот альманах была в некотором роде обязательная). Далее: высокий и худощавый господин в очках, с маленькой головкой, беспокойными телодвижениями и певучим носовым выговором, с виду смахивавший на статского советника немецкого происхождения—переводчик и стихотворец *Карлгоф*; офицер путей сообщения, с несколько болезненным, темным лицом, крупными, насмешливыми губами и растрепанными бакенбардами—что в то время уже считалось как бы некоторым пополнением к либерализму—переводчик Фауста, *Губер*; худой и нескладно сложенный человек чахоточной комплекции, с нерешительной улыбкой на губах и во взоре, с узким, но красивым и симпатическим лбом, *Гребенка*—враг Полевого—(он на него только-что написал пасквиль в роде сказки; в ней *кузнечик полевой* играл очень неблаговидную роль),—автор повестей и юмористических рассказов с малороссийским оттенком, в которых чуть заметно сочилась своеобразная, теплая струйка; наконец, наш добрейший и незабвенный *князь Одоевский*. Этого описывать нечего: всякий помнит его благообразные черты, таинственный и приветливый взгляд, детски-милый смех и добродушную торжественность... В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двухбортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом—он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно; в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое, русское—в роде тех лиц, которые часто встречаются у образованных самоучек из дворовых и мещан. Замечательно, что эти лица, в противность тому, что, повидимому, следовало бы ожидать, редко отличаются энергией; на-

против, почти всегда носят отпечаток робкой мягкости и грустного раздумья... Это был поэт *Кольцов*.

С точностью не могу теперь припомнить, о чем в тот вечер шел разговор; но он не отличался ни особенной живостью, ни особенной глубиной и шириной поднимаемых вопросов. Речь касалась то литературы, то светских и служебных новостей—и только. Разва два она приняла военный и патриотический колорит, вероятно, благодаря присутствию трех мундиров. Время было тогда очень уже смирное. Правительственная сфера, особенно в Петербурге, захватывала и покоряла себе все. А между тем, та эпоха останется памятной в истории нашего духовного развития... С тех пор прошло слишком тридцать лет, но мы все еще живем под веянием и в тени того, что началось тогда; мы еще не произвели ничего равносильного. А именно: весною только-что протекшего (1836 года) был дан в первый раз «Ревизор», а несколько недель спустя, в феврале или марте 1837 года,—«Жизнь за Царя»¹⁾. Пушкин был еще жив, в полном расцвете сил и, по всем вероятностям, ему предстояло много лет деятельности... Ходили темные слухи о некоторых превосходных произведениях, которые он берег в своем портфеле. Эти слухи побуждали любителей словесности подписываться—в ограниченном, впрочем, числе—на «Современник»; но, правду говоря, не на

¹⁾ Я находился на обоих представлениях—и, сознаваясь откровенно, не понял значения того, что совершилось перед моими глазами. В «Ревизоре» я, по крайней мере, много смеялся, как и вся публика. В «Жизни за Царя» я просто скучал. Правда, голос Воробьевой (Петровой), которой я незадолго перед тем восхищался в «Семирамиде», уже надломился, а г-жа Степанова (Антонида) визжала сверхъестественно... Но музыку Глинки я, все-таки, должен был понять.

Пушкине сосредоточивалось внимание тогдашней публики... Марлинский все еще слыл любимейшим писателем, барон Брамбеус царствовал, «Большой выход у Сатаны» почитался верхом совершенства, плодом чуть не Вольтеровского гения, и критический отдел в «Библиотеке для Чтения»—образцом остроумия и вкуса; на Кукольника взирали с надеждой и почтением, хотя и находили, что «Рука Всевышнего» не могла ~~зитти~~^{зитти} в сравнение с «Торквато Тассо»,—а Бенедиктова заучивали наизусть¹⁾). Между прочим, в тот вечер, о котором я завел речь, Гребенка прочел, по просьбе хозяина, одно из последних стихотворений Бенедиктова. Время, повторяю, было смирное по духу и трескучее по внешности, и разговоры подлаживались под господствовавший тон; но таланты несомненные, сильные таланты—действительно были и остались глубокий след. Теперь на наших глазах совершается факт противоположный; общий уровень значительно поднялся, но таланты—и реже, и слабее.

Первым из общества удалился Воейков; он еще не перешел порога комнаты, как уже Карлгоф принял читать, прерывавшимся от волнения голосом, эпиграмму против него... «Поэт-идеалист и мечтатель по преимуществу», как величал себя Карлгоф, видно, не мог забыть посвященное ему и действительно жестокое четверостишие в «Сумасшедшем доме». Скоблев также скоро откланялся, истощив небогатый запас своих прибауточек. Губер начал жаловаться на цензуру. Эта тема часто вращалась в тогдашних литературных беседах... Да и как могло быть иначе!

1) Об этом настроении публики, вообще об этой эпохе будет говорено подробнее в последующем этюде: «В. Г. Белинский».

Всем известны анекдоты о «вольном духе», о «лже-пророке» и т. д.; но едва ли кто из теперешних людей может составить себе понятие о том, какому ежеминутному и повсеместному рабству подвергалась печатная мысль¹⁾. Литератор—кто бы он ни был—не мог не чувствовать себя чем-то в роде контрабандиста.—Разговор перешел к Гоголю, который находился за границей; но Белинский тогда едва начинал свою критическую карьеру—никто еще не пытался разъяснить русской публике значение Гоголя, в творениях которого оракул «Библиотеки для Чтения» видел один грязный малороссийский «жарт». Помнится, все ограничилось тем, что Владиславлев с похвалой цитировал из «Ревизора» фразу: «не по чину берешь!» и при этом сделал движение рукою, как будто поймал муху; как теперь вижу взмах этой руки в голубом обшилаге—и знаменательный взгляд, которым все обменялись. Хозяин дома сказал несколько слов о Жуковском, об его переводе Ундины, который появился около того времени роскошным изданием, с рисунками—если не ошибаюсь—графа Толстого; он упомянул также о другом Жуковском, весьма слабом стихотворце, недавно с громом и треском выступившем в «Библиотеке для Чтения» под псевдонимом Бернета;—о графине Раствориной, о г. Тимофееве, даже о г. Крещеве было произнесено слова два, так как они все писали стихи, а писать стихи—тогда еще считалось делом важным. Плетнев стал было просить Кольцова прочесть свою последнюю «Думу» (чуть ли не «Божий мир»); но тот чрезвычайно сконфузился и принял такой растерянный вид, что Петр Алексан-

1) Цензорские помарки доходили до каприза, до игривости; у меня долго хранился корректурный лист, на котором цензор К. вычеркнул слова: «этот девочка была как цветок», и заменил их следующими (все теми же красными чернилами!): «этот девочка походила на пышную розу».

дрович не настаивал. Повторяю еще раз: на всей нашей беседе лежал оттенок скромности и смиренния; она происходила в те времена, которые покойный Аполлон Григорьев прозвал допотопными. Общество еще помнило удар, обрушившийся на самых видных его представителей лет двенадцать перед тем; и из всего того, что проснулось в нем впоследствии, особенно после 55 года — ничего даже не шевелилось, а только бродило — глубоко, но смутно — в некоторых молодых умах. Литературы, в смысле живого проявления одной из общественных сил, находящегося в связи с другими, столь же и более важными, проявлениями их — не было, как не было прессы, как не было гласности, как не было личной свободы; а была словесность — и были такие словесных дел мастера, каких мы уже потом не видали.

В двенадцатом часу вечера, почти после всех — я вышел в переднюю вместе с Кользовым, которому предложил довезти его до дома — у меня были сани. Он согласился — и всю дорогу покашливал и кутался в свою худую шубенку. Я его спросил, зачем он не хотел прочесть свою «Думу»... «Что же это я стал бы читать-с!», отвечал он с досадой: — «тут Александр Сергеич только-что вышел, а я бы читать стал! Помилуйте-с!» — Кольцов благоговел перед Пушкиным. Мне самому мой вопрос показался неуместным; и действительно: как бы этот робкий человек, с такой смиренною наружностью, стал бы из уголка декламировать:

Отец света — вечность,
Сын вечности — сила;
Дух силы — есть жизнь —
Мир жизнью кипит — и т. д.

На углу переулка, в котором он жил, он вышел из саней, торопливо застегнул полость и, все покашливая и кутаясь в шубу, потонул в морозной мгле петербургской январской ночи. Я с ним больше не встречался.

Скажу несколько слов о самом Петре Александровиче. Как профессор русской литературы, он не отличался большими сведениями; учебный багаж его был весьма легок; зато он искренно любил «свой предмет», обладал несколько робким, но чистым и тонким вкусом, и говорил просто, ясно, не без теплоты. Главное: он умел сообщать своим слушателям те симпатии, которыми сам был исполнен, умел заинтересовать их. Он не внушал студентам никаких преувеличенных чувств, ничего подобного тому, что возбуждал в них, например, Грановский; да и повода к тому не было—*non hic erat locus...* Он тоже был очень смирен; но его любили. Притом, его—как человека, прикосновенного к знаменитой литературной плеяде, как друга Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя, как лицо, которому Пушкин посвятил своего Онегина,—окружал в наших глазах ореол. Все мы наизусть знали стихи: «Не мысля гордый свет забавить»,—и т. д.

И действительно: Петр Александрович подходил под портрет, набросанный поэтом: это не был обычный комплимент, которым так часто украшаются посвящения. Кто изучил Плетнева, не мог не признать в нем—

Души прекрасной,
Святой исполненной мечты *).
Поэзии живой и ясной,
Высоких дум и красоты.

*) Значение этого стиха неясно; он может показаться более или менее романтической вставкой,—тем, что французы на-
И. С. Тургенев. Лит. воспомин.

Он также принадлежал к эпохе, ныне брезвратно прошедшей: это был наставник старого времени, словесник, не ученый, но по-своему—мудрый. Кроткая тишина его обращения, его речей, его движений, не мешала ему быть проницательным и даже тонким,—но тонкость эта никогда не доходила до хитрости, до лукавства; да и обстоятельства так сложились, что он в хитрости не нуждался: все, что он желал—медленно, но неотразимо—как бы плыло ему в руки; и он, покидая жизнь, мог сказать, что насладился ею вполне, лучше чем вполне—в меру. Такого рода наслаждение надежнее всякого другого; древние греки не даром говорили, что последний и высший дар богов человеку—чувство меры. Эта сторона античного духа в нем отразилась—и он ей особенно сочувствовал; другие—ему были закрыты. Он не обладал никаким так-называемым «творческим» талантом; и он сам хорошо это знал: главное свойство его ума—трезвая ясность—не могла изменить ему, когда дело шло о разборе собственной личности. «Красок у меня нет,—жаловался он мне однажды:—все выходит серо, и потому я не могу даже с точностью передать то, что я видел и посреди чего жил». Для критика—в воспитательном, в отрицательном значении слова—ему недоставало энергии, огня, настойчивости; прямо говоря—мужества. Он не был рожден бойцом. Пыль и дым битвы—для его гадливой и чистоплотной натуры были столь же неприятны, как и сама опасность, которой он мог подвергнуться в рядах сражавшихся. Притом, его положение в обществе, его связи с Двором так же отдаляли его от подобной роли—роли критика-бойца, как и собствен-

зывают une cheville; но в самой своей неясности он верно характеризует то нечто, неопределенное, но хорошее и благородное, которое многие лучшие люди того времени носили в своих сердцах.

ная его натура. Оживленное созерцание, участие искреннее, незыблемая твердость дружеских чувств и радостное поклонение поэтическому—вот весь Плетнев. Он вполне выразился в своих малочисленных сочинениях, написанных языком образцовым, хотя немножко бледным.

Он был прекрасный семьянин, и во второй своей супруге, в детях своих, нашел все нужное для истинного счаствия. Мне пришлось раза два встречаться с ним за границей: расстроенное здоровье заставило его покинуть Петербург и свою ректорскую должность; в последний раз я видел его в Париже, незадолго до его кончины. Он совершенно безропотно и даже весело переносил свою весьма тягостную и несносную болезнь. „Я знаю, что я скоро должен умереть,—говорил он мне,—и кроме благодарности судьбе ничего не чувствую; пожил я довольно, видел и испытал много хорошего, знал прекрасных людей; чего же больше? Надо и честь знать!“—И на смерти его, как я потом слышал, лежал тот же отпечаток душевной тишины и покорности.

Я любил беседовать с ним. До самой старости он сохранил почти детскую свежесть впечатлений и, как в молодые годы, умилялся перед красотою: он и тогда не восторгался ею. Он не расставался с дорогими воспоминаниями своей жизни; он лелеял их, он трогательно гордился ими. Рассказывать о Пушкине, о Жуковском—было для него праздником. И любовь к родной словесности, к родному языку, к самому его звуку не охладела в нем; его коренное, чисто русское происхождение сказывалось и в этом: он был, как

известно, из духовного звания. Этому же происхождению приписываю я его елейность, а может быть — и житейскую его мудрость. Он с прежним участием слушал произведения наших новых писателей — и произносил свой суд, не всегда глубокий, но почти всегда верный и, при всей мягкости форм, неуклонно согласный с теми началами, которым он никогда не изменял в деле поэзии и искусства. Студенческие „истории“, случившиеся во время его отсутствия за границей, глубоко его огорчили — глубже, чем я ожидал, зная его характер; он скорбел о своем „бедном“ университете, и осуждение его падало не на одних молодых людей...

Подобные личности теперь уже попадаются редко; не потому, чтобы в них было нечто необыкновенное, а потому, что время изменилось. Полагаю, что читатель не попеняет на меня за то, что я остановил его внимание на одной из них — на почтенном и благодушном словеснике старого закала.

1868 г.

Воспоминания о Белинском.

Личное мое знакомство с В. Г. Белинским началось в Петербурге, летом 1843 года; но имя его стало мне известным гораздо раньше. Вскоре после появления его первых критических статей в „Молве“ и „Телескопе“ (1836—1839), в Петербурге начали ходить слухи о нем, как о человеке весьма бойком, горячем, который ни перед чем не отступал и нападал на „все“—на все в литературном мире, конечно. Другого рода критика была тогда немыслима в печати. Многие, даже между молодежью, осуждали его и находили, что он слишком смел и далеко заносится; старинный антагонизм Петербурга и Москвы придавал еще более резкости тому недоверию, с которым читатели на берегах Невы относились к новому московскому светилу. Притом, его плебейское происхождение (отец его был лекарь, а дед—диакон) возмущало аристократический дух, установившийся в нашей литературе с Александровских времен, времен „Арзамаса“ и т. п. В тогдашнее темное, подпольное время, сплетня играла большую роль во всех суждениях—литературных и иных... Известно, что сплетня и до сих пор не совсем утратила свое значение; исчезнет она только в лучах полной гласности и свободы. Целая легенда тотчас сложилась и о Белинском. Говорили, что он—недоучившийся казенный студент, выгнанный из университета тогдашним попечителем Голохвастовым за развратное поведение (Белинский—и развратное поведение!); уверяли, что и наружность

его самая ужасная; что это какой-то циник, бульдог, призренный Надеждиным с целью травить им своих врагов; упорно, и как бы в укоризну, называли его „Беллинским“. Слышались, правда, голоса и в его пользу; помнится, издатель почти единственного тогдашнего толстого журнала отзывался о нем, как о птичке с ноготком, как о живчике, которого не худо бы завербовать—что, как известно, и было впоследствии приведено в исполнение, к великому преуспению журнала и к великой выгоде самого... издателя. Что касается до меня, то знакомство мое с Белинским, как писателем, произошло следующим образом.

Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году маленькой книжечкой, с неизбежной виньеткой на заглавном листе—как теперь ее вижу—и привели в восхищение все общество, всех литераторов, критиков—всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался „Утесом“, „Горами“, и даже „Матильдой“ на жеребце, гордившейся „усестом красивым и плотным“. Вот, в одно утро зашел ко мне студент-товарищ и с негодованием сообщил мне, что в кондитерской Беранжэ появился № „Телескопа“ с статьей Белинского, в которой этот „критикан“ осмеливался заносить руку на наш общий идол, на Бенедиктова. Я немедленно отправился к Беранжэ, прочел всю статью от доски до доски—и, разумеется, так же воспыпал негодованием. Но—странные дела!—и во время чтения, и после, к собственному моему изумлению и даже досаде, что-то во мне невольно соглашалось с „критиканом“, находило его доводы убедительными... неотразимыми. Я стыдился этого, уже точно неожиданного впечатления, я старался заглу-

шить в себе этот внутренний голос; в кругу приятелей я с большей еще резкостью отзывался о самом Белинском и о его статье... но в глубине души что-то продолжало шептать мне, что он был прав... Прошло несколько времени—и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми принятым, общим местом—„a truism“, как выражаются англичане? Под этот приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей. Имя Белинского с тех пор уже не изгладилось из моей памяти, но личное наше знакомство началось позже.

Когда появилась та небольшая поэма „Параша“, о которой я говорил выше, я в самый день отъезда из Петербурга в деревню сходил к Белинскому (я знал, где он жил, но не посещал его, и всего два раза встретился с ним у знакомых), и не назвавшись, оставил его человеку один экземпляр. В деревне я пробыл около двух месяцев и, получив майскую книжку „Отечественных Записок“, прочел в ней длинную статью Белинского о моей поэме. Он так благосклонно отзывался обо мне, так горячо хвалил меня, что, помнится, я почувствовал больше смущения, чем радости. Я не „мог поверить“, и когда в Москве покойный Киреевский (И. В.) подошел ко мне с поздравлениями, я поспешил отказаться от своего детища, утверждая, что сочинитель „Параши“—не я. Возвратившись в Петербург, я, разумеется, отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву—жениться, а возвратившись оттуда поселился на даче в Лесном. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренно и глубоко; он благоволил ко мне.

Опишу его наружность. Известный лигографический, едва ли не единственный, портрет его дает о нем понятие неверное. Срисовывая его черты, художник почел за долг воспарить духом и украсить природу, и потому придал всей голове какое-то повелительно-вдохновенное выражение, какой-то военный, чуть не генеральский поворот, неестественную позу, что вовсе не соответствовало действительности и никак не согласовалось с характером и обычаем Белинского. Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки, весь так называемый *habitus* этой злой болезни. Притом же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое, нос неправильный, как бы приплюснутый, рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался, маленькие, частые зубы; густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хоть и низкий лоб. Я не видел глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен; говорил он с особенными ударениями и придыханиями, „упорствуя, волнуясь и спеша“ *). Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком. Кто видел его только на улице, когда в теплом картузе, старой

*) Стих Некрасова.

енотовой шубенке и стоптанных калошах, он торопливо и неровной походкой пробирался вдоль стен и с пугливой суровостью, свойственной нервическим людям, озирался вокруг—тот не мог составить себе верного о нем понятия, и я до некоторой степени понимаю восклицание одного провинциала, которому его указали: „я только в лесу таких волков видывал, и то травленных!“ Между чужими людьми, на улице, Белинский легко робел и терялся. Дома он обыкновенно носил серый сюртук на вате и держался вообще очень опрятно. Его выговор, манеры, телодвижения живо напоминали его происхождение; вся его повадка была чисто русская, московская; не даром в жилах его текла беспримесная кровь—принадлежность нашего великорусского духовенства, столько веков недоступного влиянию иностранной породы.

Белинский был, что у нас редко, действительно страстный и действительно искренний человек, способный к увлечению беззаветному, но исключительно преданный правде, раздражительный, но не самолюбивый, умевший любить и ненавидеть бескорыстно. Люди, которые, судя о нем наобум, приходили в негодование от его «наглости», возмущались его «грубостью», писали на него доносы, распространяли про него клеветы—эти люди, вероятно, удивились бы, если б узнали, что у этого циника душа была целомудренная до стыдливости, мягкая до нежности, честная до рыцарства; что вел он жизнь чуть не монашескую, что вино не касалось его губ. В этом последнем отношении он не походил на тогдаших москвичей. Невозможно себе представить, до какой степени Белинский был правдив с другими и с самим собою; он чувствовал, действовал, существовал только в силу того, что он признавал за истину, в силу своих

принципов. Приведу один пример. Вскоре после моего знакомства с ним, его снова начали тревожить те вопросы, которые, не получив разрешения или получив разрешение одностороннее, не дают покоя человеку, особенно в молодости: философические вопросы о значении жизни, об отношениях людей друг к другу и к божеству, о происхождении мира, о бессмертии души и т. п. Не будучи знаком ни с одним из иностранных языков (он даже по-французски читал с великим трудом) и не находя в русских книгах ничего, что могло бы удовлетворить его пытливость, Белинский поневоле должен был прибегать к разговорам с друзьями, к продолжительным толкам,суждениям и расспросам; и он отдавался им со всем лихорадочным жаром своей жаждавшей правды души. Таким именно путем он, еще в Москве, усвоил себе, между прочим, главные выводы и даже терминологию Гегелевской философии, беспрекословно царившей тогда в умах молодежи. Дело не обходилось, конечно, без недоразумений, иногда даже комических: друзья-наставники Белинского, передававшие ему всю суть и весь сок западной науки, часто сами плохо и поверхностно ее понимали *); но уже Гете сказал, что—

*) Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: „что разумно—то действительно, что действительно—то разумно“. С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения не допустить. Если б кто-нибудь шепнул тогда молодым философам, что Гегель не все существующее признает за действительное—много бы умственной работы и томительных прений было сбережено: они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и в сущности значит только то, что „opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva“, т.-е. опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер).

Ein guter Mann in seinem dunklen Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewusst... *)

а Белинский был именно *ein guter Mann*, — был правдивый и честный человек. К тому же его в этих случаях выручал замечательный инстинкт, которым он был одарен; но об этом речь впереди.—Итак, когда я познакомился с Белинским, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышал и сам употреблял не однажды; но в действительности и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пиши, неотступно грызли и жгли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас встанет с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начнет прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два, три, я ослабевал, легкомыслie молодежи брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было не легко.—«Мы не решили еще вопроса о существовании бога,—сказал он мне однажды с горьким упреком,—а вы хотите есть!...» Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при

*) „Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда имеет сознание прямого пути“.

мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова, и если, при воспоминании *об этой небоязни смешного*, улыбка может прийти на уста, то разве — улыбка умиления и удивления...

Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мной он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался Гегелевской философией и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы. Мы еще верили тогда в действительность и важность философических и метафизических выводов, хотя ни он, ни я, мы нисколько не были философами и не обладали способностью мыслить отвлеченно, чисто, на немецкий манер... Впрочем, мы тогда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления.

Сведения Белинского были не обширны; он знал мало, и в этом нет ничего удивительного. В отсутствии трудолюбия, в лени, даже враги не обвиняли его; но бедность, окружавшая его сызмала, плохое воспитание, несчастные обстоятельства, ранние болезни, а потом необходимость спешной работы из-за куска хлеба, все это вместе взятое помешало Белинскому приобрести правильные познания, хотя, например, русскую литературу, ее историю, он изучил основательно. Но скажу более: именно это недостаточное знание является в том случае характеристическим признаком, почти необходимостью. Белинский был тем, что я позволю себе назвать *центральной натурой*: он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших, и с дурных его сторон. Ученый человек,

не говорю «образованный»—это другой вопрос, но ученый человек, именно в силу своей учености не мог бы быть в сороковых годах такой русской центральной натурой; он не вполне соответствовал бы той среде, на которую пришлось бы ему действовать; у него и у ней были бы различные интересы; гармонии бы не было, и, вероятно, не было бы обоюдного понимания. Вожди своих современников в деле критики общественной, эстетической, в деле критического самосознания (мне кажется, что мое замечание имеет применение общее, но на этот раз я ограничусь одной *этой* стороной), вожди современников, говорю я, должны, конечно, стоять выше их, обладать более нормально устроенной головою, более ясным взглядом, большей твердостью характера; но между этими вождями и их последователями не должно быть бездны. Одно слово: «последователь» уже предполагает возможность шествия по одному направлению, тесной связи. Вождь может возбуждать негодование, досаду в тех, которых он тревожит, поднимает с места, двигает вперед; проклинать они его могут, но понимать они должны его всегда. Он должен стоять выше их, да, но и близко к ним; он должен участвовать не в одних хороших их качествах и свойствах, но и в недостатках их: он тем самым глубже и больше чувствует эти недостатки. Сенковский был не в пример ученее, не говорю уже Белинского, но и большей части своих русских современников, а какой след оставил он? Мне скажут, что его деятельность была бесплодна и вредна не потому, что он был ученый, а потому, что у него не было убеждений, что он был нам чужой, не понимал нас, не сочувствовал нам; против этого я спорить не стану; но мне кажется, что самый его скептицизм, его вычурность и гадливость, его презрительное глумление, педантство, холод, все его особенности отчасти происходили от

того, что у него, как у человека ученого, специалиста, и цели, и симпатии были другие, чем у массы общества. Сенковский был не только учен, он был остроумен, игрив, блестящ; молодые чиновники и офицеры восхищались им, особенно в провинции; но не того было нужно массе читателей, а того, что было нужно: критического и общественного чутья, вкуса, понимания насущных потребностей эпохи, и главное, жара, любви к меньшой, невежественной братии—у него и следа не замечалось. Он забавлял своих читателей, втайне презирая их, как неучей; и они забавлялись им—и на грош ему не верили. Смею надеяться, что мне не станут приписывать желания защищать и как бы рекомендовать невежество; я указываю только на физиологический факт в развитии нашего сознания. Понятно, что какой-нибудь Лессинг, для того, чтобы стать вождем *своего* поколения, полным представителем *своей* народности, должен был быть человеком почти всеобъемлющей учености; в нем отражалась, в нем находила свой голос, свою мысль—Германия, он был *германской центральнойатурой*. Но Белинский, который до некоторой степени заслуживает название русского Лессинга, Белинский, значение которого, по смыслу и влиянию своему, действительно напоминает значение великого германского критика, мог сделаться тем, чем он был, и без большого запаса научных познаний. Он смешивал старшего Питта (lorda Чатама) с его сыном, В. Питтом—что за беда! «Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...» Для того, чтобы ему предстояло исполнить, он знал довольно. Откуда он бы взял тот жар и ту страсть, с которыми он постоянно и всюду ратовал за просвещение, если бы он на самом себе не испытал всю горечь невежества? Немец старается исправить недостатки своего народа,

убедившись размышлением в их вреде; русский еще долго будет сам болеть ими.

Белинский, бесспорно, обладал главными качествами великого критика; и если в деле науки, знания ему приходилось заимствовать от товарищей, принимать их слова на веру—в деле критики ему не у кого было спрашиваться; напротив, другие слушались его; почин оставался постоянно за ним. Эстетическое чутье было в нем почти непогрешимо; взгляд его проникал глубоко и никогда не становился туманным. Белинский не обманывался внешностью, обстановкой—не подчинялся никаким влияниям и веяниям; он сразу узнавал прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и с бестрепетной смелостью высказывал свой приговор—высказывал его вполне, без урезок, горячо и сильно, со всей стремительной уверенностью убеждения. Кто бывал свидетелем критических ошибок, в которые впадали даже замечательные умы (стоит вспомнить хоть Пушкина, который в «Марфе Посаднице» г-на Погодина видел «что-то шекспировское!»)—тот не мог не почувствовать уважения перед метким суждением, верным вкусом и инстинктом Белинского, перед его уменьем «читать между строками». Не говорю уже о статьях, в которых он отводил подобающее им место прежним деятелям нашей словесности; не говорю также и о тех статьях, которыми определялось значение писателей еще живых, подводился итог их деятельности, итог, принятый и скрепленный, как уже сказано выше, потомством *); но при появлении нового дарования, нового романа, стихотворения, повести —

*). См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине и т. д.

никто, ни прежде Белинского, ни лучше его, не произносил правильной оценки, настоящего, решающего слова. Лермонтов, Гоголь, Гончаров — не он ли первый указал на них, разъяснил их значение? И сколько других! Без невольного удивления перед критической диагнозой Белинского нельзя прочесть, между прочим, ту небольшую выноску, сделанную им в одном из своих годичных обозрений, в которой он по одной «Песне о купце Калашникове», появившейся без подписи в «Литературной Газете», предрекал великую будущность автора. Подобные черты встречаются беспрестанно у Белинского. Приведу один пример. В 1846 году в «Отечественных Записках» появилась повесть г-на Григоровича под заглавием: «Деревня», по времени *первая попытка сближения нашей литературы с народной жизнью*, первая из наших «деревенских историй» — *Dorfgeschichten*. Написана она была языком несколько изысканным — не без сентиментальности; но стремление к реальному воспроизведению крестьянского быта — было несомненно. Покойный И. И. Панаев, человек добродушный, но крайне легкомысленный и способный схватывать одни лишь верхи верхушек, уцепился за некоторые смешные выражения «Деревни», и, обрадовавшись случаю поглумиться, стал поднимать на смех всю повесть, даже читал в приятельских домах некоторые, по его мнению, самые забавные страницы. Но каково же было его изумление, каково недоумение хохотавших приятелей, когда Белинский, прочтя повесть г-на Григоровича, не только нашел ее весьма замечательной, но немедленно определил ее значение и предсказал то движение, тот поворот, которые вскоре потом произошли в нашей словесности? Панаеву оставалось одно: продолжать читать отрывки из «Деревни», но уже восхищаясь ими — что он и сделал.

Не могу на этом месте не упомянуть, кстати, о мистификации, которой в то время неоднократно подвергался один издатель толстого журнала, столь же одаренный практическими талантами, сколь обиженный природою насчет эстетических способностей. Ему, например, кто-нибудь из кружка Белинского приносил новое стихотворение и принимался читать, не предварив своей жертвы ни одним словом, в чем состояла суть стихотворения и почему оно удостоивалось прочтения. Тон сперва пускался в ход иронический; издатель, заключавший из этого тона, что ему хотят представить образчик безвкусия или нелепости, начинал посмеиваться, пожимать плечами; тогда чтец переводил понемногу тон из иронического в серьезный, важный, восторженный; издатель, полагая, что он ошибся, не так понял, начинал одобрительно мычать, качать головою, иногда даже произносил: «недурно! хорошо!» Тогда чтец снова прибегал к ироническим нотам и снова увлекал за собою слушателя, возвращался к восторженному настроению — и тот опять похваливал... Если стихотворение попадалось длинное, подобные вариации, напоминающие игру в головки из каучука, то и дело меняющие свое выражение под давлением пальцев, можно было совершить несколько раз. Кончалось тем, что несчастный издатель приходил в совершенный тупик и уже не изображал на своем, впрочем весьма выразительном, лице ни сочувственного одобрения, ни сочувственного порицания. У Белинского нервы не были довольно крепки, а сам он не предавался подобным упражнениям; да и правдивость его была слишком велика — он не мог изменить ей даже ради шутки; но смеялся он до слез, когда ему сообщали подробности мистификации.

Другое замечательное качество Белинского, как критика, было его понимание того, что именно стоит на очереди, что требует немедленного разрешения, в чем сказывается «злоба дня». Не в пору гость хуже татарина, гласит пословица; не в пору возвещенная истина хуже лжи, не в пору поднятый вопрос только путает и мешает. Белинский никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов: он не стал бы, например, с ожесточением бранить Кавура¹⁾, Пальмерстона, вообще парламентаризм, как неполную и потому неверную форму правления. Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 г.) подобных нападений, он бы понял, какой партии они должны были оказать услугу, кто бы порадовался им! Белинский очень хорошо сознавал, что при обстановке, среди которой он действовал, ему не следовало выходить из круга чисто литературной критики. Во-первых, при тогдашних официальных, житейских, цензурных условиях иначе действовать было слишком затруднительно: уже и так он едва мог устоять против бури угроз и доносов, которую возбудило его отрицание наших псевдо-классических авторитетов; а во-вторых, он очень ясно видел и понимал, что в развитии каждого народа литературная эпоха предшествует другим; что не пережив и не преодолев ее, нельзя двигаться вперед; что критика, в смысле отрицания фальши и лжи, должна сперва подвергнуть анализу явления литературные — и что именно в этом и состояло его собственное призвание. Его политиче-

¹⁾ Пишуший эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: „Ну, брат, какой же ты Кавур!“ Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется!

ские, социальные убеждения были очень сильны и определительно резки; но они оставались в сфере инстинктивных симпатий и антипатий. Повторяю: Белинский знал, что нечего было думать применять их, проводить их в действительность; да если б оно и стало возможным—в нем самом не было ни достаточной подготовки, ни даже потребного на то темперамента; он и это знал—и, с собственным ему практическим пониманием своей роли, сам ограничил круг своей деятельности, сжал ее в известные пределы*). Зато, как *литературный* критик, он был именно тем, что англичане называют—«*the right man on the right place*», «настоящим человеком на настоящем месте», чего нельзя сказать о его преемниках. Правда и то, что задача их была труднее и сложнее. Незадолго до смерти Белинский начинал чувствовать, что наступило время сделать новый шаг, выйти из того тесного круга; политico-экономические вопросы должны были сменить вопросы эстетические, литературные; но сам он себя уже устранил и указывал на другое лицо, в котором видел своего преемника—на В. Н. Майкова, брата поэта; к сожалению, этот талантливый молодой человек погиб в самом начале своего поприща и точно такой же смертью, как погиб недавно другой много обещавший юноша, Д. И. Писарев.

Имя Писарева напоминает мне следующее: весной 1867 года, во время моего проезда через Петербург, он сделал мне честь—посетил меня. Я до тех пор с ним не встречался, но читал его статьи с интересом, хотя со многими положениями в них, вообще с их направлением, согласиться не мог. Особенно возмутили меня его статьи о Пушкине. В течение разговора я откровенно высказался перед ним. Писарев

*) См. в конце этой статьи примеч. II.

с первого взгляда производил впечатление человека честного и умного, которому не только можно, но и должно говорить правду.—«Вы,—начал я,—втотали в грязь, между прочим, одно из самых трогательных стихотворений Пушкина (обращение его к последнему лицейскому товарищу, долженствующему остаться в живых: «Несчастный друг» и т. д.). Вы уверяете, что поэт советует приятелю просто взять да с горя нализаться. Эстетическое чувство в вас слишком живо: вы не могли сказать это серьезно — вы это сказали нарочно, с целью. Посмотрим, оправдывает ли вас эта цель. Я понимаю преувеличение, я допускаю карикатуру,—но преувеличение истины, карикатуру в дальнем смысле, в настоящем направлении. Если б у нас молодые люди теперь только и делали, что стихи писали, как в блаженную эпоху альманахов, я бы понял, я бы, пожалуй, даже оправдал ваш злобный укор, вашу насмешку; я бы подумал: несправедливо, но полезно! А то помилуйте, в кого вы стреляете? уж, точно, по воробьям из пушки! Всего-то у нас осталось три-четыре человека, старики пятидесяти лет и свыше, которые еще упражняются в сочинениях стихов; стоит ли яриться против них? Как будто нет тысячи других, животрепещущих вопросов, на которые вы, как журналист, *обязанный* прежде всех ощущать, чуять насущное, нужное, безотлагательное,—*должны* обратить внимание публики? Поход на стихотворцев в 1866 году! Да это антикварская выхода, архаизм! Белинский — тот никогда бы не впал в такой просак!» Не знаю, что подумал Писарев, но ничего не отвечал мне. Вероятно, он не согласился со мною.

Само собою разумеется, что понимание Белинским своего времени, своего назначения, не мешало его задушевным убеждениям сквозить в каждом слове его статей, тем более, что его отрицательная дея-

тельность на поприще критики как нельзя лучше соответствовала той роли, которую он бы наверное выбрал в политически развитом обществе. Чтò он чувствовал и чтò он думал, про то ведал он один, ведали и некоторые из его друзей; но чтò он делал, чтò он печатал—неуклонно и строго держалось литературной почвы и двигалось исключительно на ней. Только в известном одном письме эта страсть, которую он—

....во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской,

прорвалась наружу—как тот огонь, о котором говорил Лермонтов.

Я прошу у читателя позволения привести в этом месте отрывок из лекции о Пушкине, прочтеноной мной в 1859 году перед немногочисленным обществом. Стараясь изобразить характер эпохи 30-х, 40-х годов, я должен был упомянуть о гоголевской сатире, о лермонтовском протесте, а потом и о значении критики Белинского. Одно упоминование этого имени возбудило негодование большей части моих слушателей. Вот этот отрывок. (Мне придется начать несколько издалека, но это неизбежно).

А между тем, как наш великий художник (Пушкин), отвернувшись от толпы и приблизившись, насколько мог, к народу, обдумывал свои заветные творения, пока по душе его проходили те образы, изучение которых невольно зарождает в нас мысль, что он один мог бы подарить нас и народной драмой, и народной эпопеей—в нашем обществе, в нашей литературе совершились если не великие, то знаменательные события. Под влиянием особенных случайностей, особых обстоятельств тогдашней жизни Европы (с 1830 по 1840 год), у нас понемногу сложилось убеж-

дение, конечно, справедливое, но в эту эпоху едва ли не рановременное: убеждение в том, что мы не только великий народ, но что мы—великое, вполне овладевшее собою, незыблемо-твердое государство, и что художеству, что поэзии предстоит быть достойными провозвестниками этого величия и этой силы. Одновременно с распространением этого убеждения и, быть может, вызванной им, явилась целая фаланга людей, бесспорно даровитых, но на даровитости которых лежал общий отпечаток риторики, внешности, соответствующей той великой, но чисто внешней силе, которой они служили отголоском. Люди эти явились и в поэзии, и в живописи, и в журналистике, и даже на театральной сцене. Нужно ли называть их имена? Они в памяти у каждого—и стбит только вспомнить, кому рукоплескали, кого приветствовали в то время, когда вокруг умолкнувшего Пушкина водворилась тишина¹⁾. Это вторжение в общественную жизнь того, что мы решились бы назвать *ложно-величавой школой*, продолжалось недолго, хотя отражение ее в сферах, менее подвергнутых анализу критики, чем собственно-литературная художественная сфера, не прекратилось и до сих пор. Оно продолжалось недолго—но что было шума и грома! Как широко разлилась тогда эта школа! Некоторые из ее деятелей, сами добродушно признавали себя за гениев. Со всем тем что-то не истинное, что-то мертвенно чувствовалось в ней даже в минуты ее кажущегося торжества—и ни одного живого самобытного ума она себе не покорила безвозвратно. Произведения этой школы, проникнутые самоуверенностью, доходившей до самонадувательства, посвященные возвеличиванию России—во

¹⁾ Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю—имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюлова, Караталина и др.

что бы то ни стало, в самой сущности не имели ничего русского; это были какие-то пространные декорации, хлопотливо и небрежно воздвигнутые патриотами, не знавшими своей родины. Все это гремело, все это считало себя достойным украшением великого государства и великого народа,—а час падения приближался. Но не последние глубоко-художественные произведения Пушкина были причиною этого падения. Если бы даже они явились при его жизни—сомневаемся, оценила ли бы их тогда оглушенная, сбитая с толку публика. Они не могли служить полемическим целям, они могли одержать и они одержали победу своей собственной красотой, сопоставлением этой красоты и силы с безобразием и слабостью того ложно-величавого призрака; но в первое время, именно для того, чтобы разоблачить этот призрак во всей его пустоте, нужны были другие орудия, другие, более пронзительные силы—силы байронического лиризма, который уже явился у нас однажды, но поверхностно и не серьезно, силы критики, юмора. И они не замедлили явиться. В сфере художества заговорил Гоголь, с ним Лермонтов; в сфере критики, мысли—Белинский.

«....В прошлой беседе с вами мы говорили о том значении, которое будущий историк нашей литературы придаст появлению Пушкина; но, без сомнения, обратит на себя внимание наших Маколеев (если только нам суждено иметь Маколеев) и та минута, когда перед раздувшимся и раздутым, как бы официальным великаном предстали—с одной стороны, гусарский офицер, светский лев, из уст которого общество услыхало впервые неведомый ему прежде, беспощадный укор *), да темный малороссийский учитель с

*). Прошу позволения привести слова одной тогдашней великокосвятской барыни, встретившей меня следующим восклик-

своей грозной комедией, на челе которой стояло эпиграфом: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; а с другой стороны, такой же темный, недоучившийся студент, дерзнувший провозгласить, что у нас еще не было литературы, что Ломоносов не был поэтом, что не только Херасков и Петров, но и Державин Дмитриев не могут нам служить образцами, что и новейшие великие люди ничего не сделали. Под совокупными усилиями этих трех, едва ли знакомых друг другу деятелей, рухнула не только талитературная школа, которую мы назвали ложно-величавою, но и многое другое, устарелое и недостойное, обратилось в развалины. Победа была решена скоро. В то же время умалилось и поблекло влияние самого Пушкина, того Пушкина, имя которого так было дорого самим нововводителям, которое они окружали такою полюбовью. Идеал, которому они служили—сознательно или бессознательно (Гоголь, как известно, до конца от него отчурался и отнекивался)—идеал этот не мог ужиться с Пушкинским идеалом, на зло им самим. Сила вещей сильнее всякой отдельной, личной силы—так же, как общее в нас сильнее наших собственных наклонностей. Время чистой поэзии прошло так же, как и время ложновеличавой фразы; наступило время критики, полемики, сатиры. Вместо слова: „наступило“—мы бы могли, вспомнив фон-Визина, Новикова, употребить слово: «возвращалось». Подобные «возвратные» обороты бегущего вперед исторического колеса известны всем наблюдателям жизни народов. Общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем—

цанием: „Avez-vous lu la „Douma?“ Qui pouvait s'attendre à cela de la part de Lermontoff! Lui qui venait de dire: Я, Матерь Божия, нынче, с молитвой! „C'est affreux!“

которые и сбылись *)—с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. «Торквато Тассо» Кукольника, «Рука Всевышнего»—исчезли, как мыльные пузыри; но и «Медным Всадником» нельзя было любоваться в одно время с «Шинелью».

Здесь следовала довольно подробная характеристика Гоголя и Лермонтова, оканчивающаяся следующими словами:

«Сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости—а на какой ступени общества тогда не царила пошлость?—против того должно-общего, неправедно-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе личности....» И я продолжал так:

«Мы просим теперь у вас позволения остановиться на третьей личности, имя которой, мы это знаем, не совсем благозвучно в ваших ушах. Мы говорим о Белинском. С этим именем сопряжено воспоминание о некоторых увлечениях, но, смеем думать, и о великих заслугах. Слово его живет до сих пор, и мы не можем допустить, чтобы Россия, именно теперь **) с жадностью его читающая, была совершенно неправа в своей любви к нему. Мы упомянули о нем не потому, что были связаны с ним личными, дружественными отношениями; мы желаем обратить ваше внимание на самый принцип его деятельности. Имя этому принципу—идеализм: Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще

*) Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции.

**) Тогда только-что вышли первые томы полного издания его сочинений.

доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти,—тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и Лермонтовский протест, и Гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала скрупал он старые авторитеты, наши так-называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения...»

Быть может, некоторые читатели удивятся слову: «идеалист», которым я почел за нужное охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами, а во-вторых, мне — признаюсь в том — доставило не малое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед собирающим людей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определенного и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией,—Западом, наконец. Люди благонамеренные, но не доброжелательные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стоит: недоразумения тут немыслимы. Белинский посвятил

всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом—для развития собственных ее сил, собственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как итти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны *). Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями природы, истории, климата,—причем, относиться и к ним свободно, критически—вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть, наконец, самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот — разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он так же пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы—вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся перед Западом—значило не знать его вовсе; к тому же не смирением

*.) Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта: „Петр Великий“, и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —

грешат обыкновенно недоучки. Белинский еще потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения—и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было, точно, насилием, было тем, что в новейшее время получило название: *coup d'état*; но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доныне не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье—это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и *должны* были итти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были итти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всем его существе,—тому доказательством служит каждая его статья *). Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших лже-классических, лже-народных авторитетов, ниспревергая их,—он в то же время тоныше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что

*) См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове—и особенно его статьи о народных песнях и былинах. При слабости и скучности тогдашних филологических и археологических данных,—они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества.

было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы. Ни у кого ухо не было более чутко; никто не ощущал более живо гармонию и красоту нашего языка; поэтический эпитет, изящный оборот речи поражал его мгновенно и слушать его простое, несколько однообразное, но горячее и правдивое чтение какого-нибудь Пушкинского стихотворения или Лермонтовского «Мцыри» было истинным наслаждением. Прозу, особенно любимого своего Гоголя, он читал хуже; да и голос его скоро ослабевал.

Еще одно замечательное качество Белинского, как критика, состояло в том, что он был всегда, как говорят англичане, «in earnest»; он не шутил ни с предметом своих розысканий, ни с читателем, ни с самим собою, а позднейшее, столь распространенное глумление он бы отвергнул, как недостойное легко-мыслие или трусость. Известно, что глумящийся человек часто сам хорошенко не дает себе отчета, над чем он трунит и иронизирует, во всяком случае, он может воспользоваться этими ширмочками, чтобы скрыть за ними шаткость и неясность собственных убеждений. Человек свистит, хохочет... Поди, угадывай, разумей его речь, куда он ее гнет? Быть-может, он смеется над тем, что точно достойно смеха, а быть-может, и над собственным смехом зубы скалит». Мне скажут, что бывают времена, когда можно только намекать на истину и что смеющимся устам легче высказывать ее.... Да разве Белинский жил в такое время, когда можно было все высказывать на чистоту? И однокоже не прибегал он к глумлению, к «излюбленному» свистанию, к зубоскальству. Сочувственный смех, возбуждаемый в известной части публики тем «свистанием», — недалеко ушел от того

смеха, которым встречались безнравственные выходки Сенковского.... И здесь, и там выпячивалась та же склонность к грубой потехе, к гаерству, склонность, к сожалению, свойственная русскому человеку, и которую не следовало бы поблажать. Хохот невежества почти так же противен—так же и вреден—как его злоба. Впрочем, Белинский сам про себя говорил, что он шутить не мастер; ирония его была очень веска и неповоротлива; она тотчас становилась сарказмом, била не в бровь, а в глаз. И в разговоре, так же, как и с пером в руке, он не блестал остроумием, не обладал тем, что французы называют *esprit*, не ослеплял игрою искусствой диалектики; но в нем жила та неотразимая мощь, котораядается честной и непреклонной мысли, и выражалась она своеобразно и, в конце-концов, увлекательно. При совершенном отсутствии того, что обыкновенно величают элоквенцией—при явной неспособности и неохоте к «уснащиванию», к фразе,—Белинский был одним из красноречивейших русских людей, если принимать слово «красноречие» в смысле силы убеждения, той силы, которую, напр., афиняне признавали в Перикле, говоря, что каждая речь его оставляла жало в душе каждого слушателя.

Белинский, как известно, не был поклонником принципа: искусство для искусства;—да оно и не могло быть иначе по всему складу его образа мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на—отсутствующего, разумеется—Пушкина, за его два стиха в «Поэт и Чернь»—

Печной горшок тебе дороже:
Ты пиши в нем себе вариши!

—«И конечно,—твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол,—конечно, дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю,—и прежде чем любоваться красотой истукана—будь он распрефидиасовский Аполлон—мое право, моя обязанность накормить своих—и себя, на зло всяким негодующим баричам и виршеплетам!»—Но Белинский был слишком умен—у него было слишком много здравого смысла, чтобы отрицать искусство, чтобы не понимать не только его важность и значение, но и самую его естественность, его физиологическую необходимость. Белинский признавал в искусстве одно из коренных проявлений человеческой личности—один из законов нашей природы, указанных нам ежедневным опытом. Он не допускал искусства для одного искусства, точно так же, как бы он не допустил жизни для одной жизни; не даром же он был идеалист. Все должно было служить одному принципу, искусство—так же, как наука, но своим, особенным, специальным образом. Воистину детское и к тому же новое, подогретое объяснение искусства подражанием природе, не удостоилось бы от него ни возражения, ни внимания: а аргумент о преимуществе настоящего яблока перед написанным уже потому на него бы не подействовал, что этот пресловутый аргумент лишается всякой силы, как только мы возьмем человека сытого. Искусство, повторяю, было для Белинского такой же узаконенной сферой человеческой деятельности, как и наука, как общество, как государство... Но и от искусства, как и от всего человеческого, он требовал правды, живой, жизненной правды*). Сам он, впрочем, в области искусства чувствовал себя дома только в поэзии, в литературе. Живопись он

*) См. в конце статьи стр. 64, примеч. I.

не понимал и музыке сочувствовал очень слабо. Он сам очень хорошо сознавал свой недостаток, и уж и не совался туда, куда ему заказана была дорога. Статьи Гоголя об Иванове и Брюллове могут служить поучительным примером, до какой уродливой фальши, до какого вычурного и лживого пафоса может завраться человек, когда заберется не в свою сферу. Хор чертей в Роберте-Дьяволе был единственной мелодией, затверженной Белинским: в минуты отличного расположения духа, он подывал басом этот дьявольский напев. Пение Рубини потрясало его; но не музыкальное совершенство ценил он в нем, а патетическую, стремительную энергию, драматизм выражения. Все драматическое, театральное глубоко проникало в душу Белинского, так и зажигало ее. Его статьи о Мочалове, о Щепкине, вообще о театре, дышат страстью: надо было видеть, какое впечатление производило на него одно воспоминание об игре Мочалова в Гамлете, о том, как он, в известной сцене представления трагедии перед преступным королем, произносил, задыхаясь от восторга и ненависти:

„Оленя ранили стрелой....“

Была одна причина, которая заставляла иногда Белинского избегать разговоров о театре, о драматической литературе, особенно с мало знакомыми людьми: он боялся, как бы не напомнили ему про его комедию: «Пятидесятилетний дядюшка», написанную им некогда в Москве и напечатанную в «Наблюдателе». Комедия эта, точно, весьма слабое произведение; она принадлежит к худшему из родов — к слезливо-нравственному, сентиментально-добродетельному; в ней выводится великодушный дядюшка,

влюбленный в свою племянницу и приносящий свою любовь в жертву юному сопернику. Все это изложено пространно, натянутым, мертвенным слогом.... Белинский не имел никакого «творческого» таланта. Эта комедия, да еще статья о Менцеле были Ахиллесовой пятой Белинского, и упомянуть о них при нем, значило оскорбить, огорчить его. Особенno статью о Менцеле он себе простить не мог: комедию свою он признавал эстетической, литературной ошибкой, а в той статье он видел ошибку—гораздо худшего свойства. Статью о Менцеле он написал под мгновенным влиянием нетерпения, тоскливого желания перейти из области недосягаемых идеалов к чему-нибудь положительному, реальному, как будто то, что существовало тогда, могло иметь реальное значение, могло удовлетворить добросовестного человека! Бедн. Й. Белинский, конечно, не имел понятия, что за птица был господин Менцель—и взялся за это лицо чисто с априорической, отвлеченной точки зрения... В этом случае, недостаточное знание фактов сыграло с ним злую шутку... Существовала еще статейка о Бородинской годовщине. Я было, как-то заговорил с ним о ней... Он зажал себе уши обеими руками, и низко наклонясь вперед и качаясь из стороны в сторону, зашагал по комнате. Впрочем, он поболел квасным патриотизмом недолго. Вообще, лучшие статьи Белинского были написаны им в начале и перед концом его карьеры; в середине проскочила полоса, продолжавшаяся года два, в течение которой он, начинившись гегелевской философией и не переварив ее, всюду, с лихорадочным рвением, пичкал ее аксиомы, ее известные тезисы и термины, ее так называемые *Schlagwörter*. В глазах рябило от множества любимых тогдашних оборотов и выражений*)!

*) Советую любопытному читателю, желающему наглядно убедиться, до чего могло дойти тогдашнее философствование,

Надо ж было и Белинскому заплатить дань своему времени! Но эта волна скоро сбежала, оставив за собою только хорошие семена, и снова явился во всей своей мужественной и бесхитростной простоте русский язык Белинского, славный язык, ясный и здравый. Белинский, можно сказать, импровизировал свои статьи; писал он их в последние дни месяца, стоя перед конторкой, на отдельных полулистах, без помарок, крупным, крупным почерком. Он не имел времени вычищать слог, взвешивать и обдумывать каждое выражение, и потому поневоле впадал в некоторую многоглаголивость; но до безграничной болтливости, которая, должно признаться, с легкой руки покойного Писарева утвердилась у нас в критическом отделе журналов, он далеко не доходил; статьи его, все-таки, оставались литературным произведением и не превращались в дряблый разговор, в пухлые вариации на избитые темы—вариации, от которых, несмотря на весь их задор, так и отдает ученической тетрадью.

Всем известно, какую обузу наваливал на Белинского расчетливый издатель журнала, в котором он участвовал. Какие сочинения не приходилось ему разбирать—и сонники, и поваренные, и математические книги, в которых он ровно ничего не смыслил! За то, когда, после аккуратного выхода журнала в первое число месяца, наступало несколько дней

отыскать в смеси одной из книжек „Отечественных Записок“, за 40 или 41-й год, статейку, написанную, впрочем, не Белинским, а самим издателем—в защиту выражения, употребленного Искандером, будто бы „Наполеон—кверху ногами поставленный Карл Великий“, выражения, поднятого на смех другим журналом. Комизм тут тем более забавен, что весь проникнут угрюмой важностью и даже не подозревает, до какой степени он прелестен!

отдыха, как он наслаждался им, как предавался удовольствию бездействия; беседы с приятелями, а иногда и карточной игры в копеечный преферанс! Играли он плохо, но с тою же искренностью впечатлений, с тою же странностью, которые ему были присущи, что бы он ни делал! Помнится, мы однажды играли с ним, не в деньги—а так; он выигрывал и торжествовал.... но вдруг обременялся, остался без четырех. Потемнел мой Белинский пуще осенней ночи, опустил голову, как к смерти приговоренный. Выражение страдания, отчаяния, так было искренно на его лице, что я, наконец, не выдержал и воскликнул, что это уже ни на что не похоже; что если так огорчаться, так лучше совсем бросить карты!—«Нет, отвечал он глухо и взглянув на меня исподлобья:—все кончено; я только до бубновой игры и жил!»—И в это мгновение, я ручаюсь, он действительно был убежден в том, что говорил.

Я часто ходил к нему после обеда, отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже, на Фонтанке, недалеко от Аничкова моста—невеселые, довольно сырье комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром тебе, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может-быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные и унизительные объяснения, оправдания, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор *)... На улице тебе

*) Особенным юмором отличался при подобных свиданиях цензор Ф., тот самый, который говоривал: «Помилуйте—я все буквы оставлю; только дух повытравлю».—Он мне сказал

попалась фигура господина Булгарина или друга его, господина Гречи; генерал, и даже не начальник, а так, просто генерал, оборвал или, что еще хуже, поощрил тебя... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, вскоре потом сведенных на трехсотенный комплект, поездки за границу становятся невозможны, путной книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем, так называемым ученым, литературным ведомством, а тут еще шипят и расползаются доносы; между молодежью ни общей связи, ни общих интересов, страх и приижленность во всех, хоть рукой махни! Ну, вот, и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор—и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза всякому. Общий колорит наших бесед был философско-литературный, критическо-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно и даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно. При всей серьезности и действительной возвышенности своей натуры, Белинский поступал иногда как ребенок: услышит что-нибудь, что ему очень нравится, какое-нибудь место из Жорж-Занд или П. Леру—тогда он входил в моду и о нем таинственно (!) переписывались под именем *Петра Рыжего*—услышит и тотчас попросит списать ему это

однажды, с чувством глядя мне в глаза:—„Вы хотите, чтобы я не вымрывал; но посудите сами: я не вымараю—и могу лишиться 3,000 рублей в год, а вымараю—кому от этого какая печаль?—Были словечки, нет словечек—ну, а дальше?—Как же мне не марать!? Бог с вами!“,

место, и няньчится с ним. Но все это шло к нему; живой русский человек оказывался и тут. Иногда безделица его задевала. Однажды он целых шесть недель носил у себя в кармане книжку Гётеевского «Западно-Восточного Дивана» (*Westöstlicher Divan*), вот по какому поводу. Я ему как-то цитировал оттуда стих: «Lebt man denn, wen: andre leben?» (Можно ль жить, когда живут другие?) Он повторил этот стих, в укор эгоизму Гёте, перед А. Н. С., некогда известным переводчиком Гётеевских стихотворений; тот усомнился в точности цитаты и чуть ли не подтрунил над легковерностью Белинского. Вот, он и выпросил у меня экземпляр «Дивана», и постоянно имел его с собою, чтобы при встрече поразить С...; но встречи этой, к великой досаде Белинского, не состоялось. В последние два года его жизни он, под влиянием все более и более развивавшейся болезни, стал очень нервозен—и хандра на него находила.

Я виделся с Белинским в течение четырех зим—с 1843-го по 1846-й год, и особенно часто перед январем 1847-го года, когда я отправился надолго за границу и когда был основан «Современник», т. е. куплен у покойного П. А. Плетнева. История основания этого журнала представляет много поучительного... Но изложить ее в точности пока еще трудно: пришлось бы поднимать старые дрязги. Довольно сказать, что Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала, который был создан собственно для него, его именем приобрел сотрудников и пополнялся в течение целого года капитальными статьями, приобретенными Белинским для большого затеянного им альманаха. Белинский для «Современника» разорвал связь с «Отечественными Записками», а оказалось,

что в новом журнале он, вместо хозяйствского места, на которое имел полное право, занял то же место постороннего сотрудника, наемника, какое было за ним и в старом. У меня в руках находятся любопытные письма Белинского, относящиеся к этому времени: небольшие отрывки из них читатели найдут ниже. Что касается собственно до меня, то должно сказать, что он, после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности, весьма скоро—и совершенно справедливо—охладел к ней: не мог же он поощрять меня в сочинении тех стихотворений и поэм, которым я тогда предавался. Впрочем, я скоро догадался сам, что не предстояло никакой надобности продолжать подобные упражнения — и возымел твердое намерение все оставить литературу; только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел смеси в 1-м номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника», были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым, с целью расположить читателя к снисхождению). Успех этого очерка побудил меня написать другие; и я возвратился к литературе. Но читатель увидит из тех же писем Белинского, что он, хотя остался более доволен моими прозаическими работами, однако особенных надежд на меня не возлагал. Белинский с добродушным снисхождением, с сочувственным жаром поощрял начинавших писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги; но он строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал и хвалил с одинаковым беспристрастием. За то, на первых порах, он иногда доходил до нежности, увлекался очень мило, почти трогательно, почти забавно. Когда попались ему в руки «Бедные люди» г-на Достоевского, он пришел в совершенный восторг.—«Да, говорил он

с гордостью, словно сам совершил величайший подвиг:— да, батюшка, я вам доложу!—Не велика птичка—и тут он указывал рукою, чуть не на аршин от полу:— не велика птичка—а ноготок востер!»—Каково же было мое удивление, когда, встретившись вскоре потом с г-м Достоевским, я увидал в нем человека, роста более среднего—во всяком случае, выше самого Белинского!—Но в припадке отеческой нежности к ново-народившемуся таланту, Белинский относился к нему, как сыну, как к своему «дитятке». Точно так же он, летом 1843 года, когда я с ним познакомился,—лелеял и всюду рекомендовал и выводил в люди Некрасова...

Как во всех людях с пылкой душою, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными.—Но его можно было «прошибить», как я сказал ему однажды, и чему он много смеялся,—истина была для него слишком дорога: он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам, он всю жизнь относился враждебно: очень они уже шли в разрез всему тому, что он любил и во что он верил. Вообще Белинский умел ненавидеть—he was a good hater—и всей душой презирал достойное презрения. Лейбниц где-то говорит, что он почти ничего не презирает (*je ne méprise presque rien*).—Это понятно и похвально—в философе, постоянно живущем на высотах духовного созерцания; но наш брат, человек обыкновенный, по земле ходящий, не в силах возвыситься до этого бесстрастного холода, до этой величавой тишины; чувство

презрения, которое внушают нам Фаддеи Булгарины, подтверждает и крепит наше нравственное сознание, нашу совесть.— В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было.— «Ну, врал же я чушь!» бывало, говоривал он с улыбкой— и какая это в нем была хорошая черта! Белинский был не слишком высокого мнения о самом себе и о своих способностях. Скромность его была непритворна и чисто-сердечна; слово «скромность», впрочем, тут не годится: ему вовсе не было приятно, что он, по его понятию, такой некрупный человек; но, ведь, «из своей кожи не выпрыгнешь!» За то ничего не было для него важнее и выше дела, за которое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть— и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем— отвага отчаянная, на зло его физике и нервам: тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности— такая слабая, личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после.

Летом 1847 года Белинский попал, в первый и последний раз, за границу. Я прожил с ним несколько недель в Зальцбурнне, небольшом силезском городке, славящемся своими водами, будто бы излечивающими чахотку... ему они принесли мало пользы. В Зальцбурнне он, под влиянием негодования, возбужденного в нем известной «Перепиской с друзьями» Гоголя, написал ему письмо... Потом я встретился с ним в Париже. Там он поступил в лечебницу к некоему доктору, специалисту против чахотки, по имени Тирà де Мальморù. Многие считали его за шарлатана, но он совсем-было поставил Белинского

на ноги. Кашель прекратился, с лица сошла зелень... Слишком скорое возвращение в Петербург все уничтожило *). Странное дело! Он изнывал за границей от скуки, его так и тянуло назад, в Россию. Уж очень он был русский человек, и вне России замирал, как рыба на воздухе. Помню, в Париже он в первый раз увидал Площадь Согласия, и тотчас спросил меня: «Не правда ли? ведь это одна из красивейших площадей в мире?»—И на мой утвердительный ответ воскликнул: «Ну, и отлично; так уж я и буду знать,—и в сторону, и баста!» и заговорил о Гоголе. Я ему заметил, что на самой этой площади во время революции стояла гильотина и что тут отрубили голову Людовику XVI; он посмотрел вокруг, сказал: а!—и вспомнил сцену Остаповой казни в «Тарасе Бульбе». Исторические сведения Белинского были слишком слабы: он не мог особенно интересоваться местами, где происходили великие события европейской жизни; он не знал иностранных языков и потому не мог изучать тамошних людей; а праздное любопытство, глазение, *badauderie*, было не в его характере. Музыка и живопись его, как уже сказано, трогали мало; а то, чем так сильно действует Париж на многих наших соотечественников, возмущало его чистое, почти аскетическое нравственное чувство. Да и наконец; ему всего оставалось жить несколько месяцев... Он уже устал и охладел...

*) Вот еще пример того, как Белинский юмористически относился к самому себе. При отъезде из Парижа, ему дали провожатого, который должен был сопровождать ему до Берлина; но в самую последнюю минуту вышло какое-то недоразумение, и Белинский отправился один. „Представьте мое положение,—писал он одному приятелю в Париж:—на бельгийской границе меня о чем-то спрашивают, а я ничего не понимаю и только глазами хлопаю. К счастию, начальник таможни догадался, должно быть, что я глуп до святости—и пропустил меня“.

Не знаю, говорить ли об отношениях Белинского к женщинам? Сам он почти никогда не касался этого деликатного вопроса. Он вообще неохотно распространялся о самом себе, о своем прошедшем, и т. п. Мне много раз случалось наводить его на этот разговор, но он всегда отклонял его; он словно стыдился, словно не понимал, что за охота толковать о личных дрязгах, когда существует столько предметов для беседы, более важных и полезных! Если же он касался своего прошедшего, то почти всегда с юмористической точки зрения: так, например, он рассказал мне, как, будучи *удален* из университета и не имея буквально чем жить, он взялся перевести роман Поль-де-Кока за 25 руб. ассиг., и каких он понаделал промахов! Бедность он, очевидно, испытал страшную, но никогда впоследствии не услаждался ее расписыванием и размазыванием в кругу друзей, как то делают весьма часто люди, прошедшие эту тяжкую школу. В Белинском было слишком много целомудренного достоинства для подобных излияний, а может быть, и слишком много гордости... Гордость и самолюбие—две вещи весьма различные.

По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозга костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любимым женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б—на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притом она скоро умерла. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и

грустная история с девушкой из простого звания: помню его отрывочный, сумрачный рассказ о ней... он произвел на меня глубокое впечатление... но и тут дело кончилось ничем. Сердце его безмолвно и тихо истлело; он мог воскликнуть словами поэта:

О, небо! Если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле...
И не томясь, не мучась боле,
Я просиял бы и погас!

Но мечты людские несбыточны, а сожаленья—бесплодны. Кому не вынужденно хороший нумер—щеголяй с пустым, да и не сказывай никому.

Не могу, однако, не упомянуть здесь, хотя мельком, о благородных, честных воззрениях Белинского на женщин вообще, и в особенности на русских женщин, на их положение, на их будущность, на их неотъемлемые права, на недостаточность их воспитания, словом, на то, что теперь называют женским вопросом. Уважение к женщинам, признание их свободы, их не только семейного, но и общественного значения, сказываются у него всюду, где только он касается этого вопроса,—правда, без той вызывающей, крикливой бойкости, которая теперь в такой моде.

Не раз приходится слышать слова: такой-то вбремя, кстати умер... Но ни к кому они так несомненно не применяются, как к Белинскому. Да! он умер кстати и вбремя! Перед смертью (Белинский скончался в мае месяце 1848 года) он еще успел быть свидетелем торжества своих любимых, задушевных надежд, и не видел их окончательного крушения... А какие беды ожидали его, если б он остался жив! Известно, что полиция ежедневно спрашивалась о состоянии его здоровья, о ходе его агонии...

От тяжких испытаний избавила его смерть. Притом же, и физика его уже отказывалась действовать... К чему же было тянуть, медлить?

A struggle more—and I am free *).

Все так; но живой живое и думает, и нельзя подавить в себе чувства сожаления о том из нас, кого уносит смерть в неведомый край, откуда «не возвращался еще ни один путешественник». Я иногда невольно задаю себе вопрос, невольно представляю себе, что бы сказал, что бы почувствовал Белинский при виде великих реформ, совершенных нынешним царствованием—освобождения крестьян, водворения гласного суда и т. д.? Какой бы восторг возбудили в нем эти плодоносные начинания! Но он не дожил до них... Не дожил он также до того, что так же наполнило бы сладостью его сердце: не увидал он много хорошего, что совершилось после него в нашей литературе. Как бы порадовался он поэтическому дару Л. Н. Толстого, силе Островского, юмору Писемского, сатире Салтыкова, трезвой правде Решетникова! Кому бы, как не ему, следовало быть свидетелем всхода тех семян, из которых многие были посажены его рукой?... Но, видно,—не следовало...

Окончу мои воспоминания о Белинском сообщением письма одной близкой ему дамы, которую я просил передать мне подробности его кончины (я находился тогда за границей, в Париже), а также и несколько отрывков из его писем ко мне.

Вот письмо дамы (от 23-го июня 1848 года):
«Вы хотите знать что-нибудь о Белинском... Но я не умею порядочно рассказывать, да и нечего почти

*) Еще одно усилие—и я свободен! (Байрон).

говорить о человеке, который все последнее время весь был истощен физическими страданиями. Не могу выразить вам, как тяжело, как больно было смотреть на медленное разрушение этого бедного страдальца. Воротился он из Парижа в таком хорошем состоянии духа и здоровья, что все мы, не исключая даже доктора, получили надежду на его выздоровление. Тут провел он у нас несколько утр и вечеров в непрерывном, живом, энергическом разговоре, и все с радостью узнавали в нем прежнего, довольно еще здорового Белинского; но странно, что с самого его возвращения из чужих краев, нрав его чрезвычайно изменился: он стал мягче, кротче, и в нем стало гораздо более терпимости, нежели прежде; даже в семейной жизни его нельзя было узнать, так он спокойно, и, повидимому, без борьбы, мирился со всем тем, что прежде так сильно его волновало. Здоровое состояние его продолжалось недолго; он в Петербурге скоро простудился, и тут с каждым днем его положение становилось безнадежнее, при каждом свидании с ним мы находили его страшно изменившимся, и казалось, что более похудеть ему уже нельзя; но, увидав его опять, находили еще страшнее. В последний раз я была у него за неделю до смерти; застали мы его полулежащим на кресле; лицо у него было совершенно мертвое, но глаза огромные и блестящие; всякое дыхание его было стон, и встретил он нас словами: «умираю, совсем умираю»; но эти слова были выговорены не с убеждением, не с уверенностью, а скорее с желанием, чтобы его опровергли. Нечего вам говорить, какие тяжелые два часа провели мы тогда у него; говорить он, разумеется, не мог, но его даже уж и не занимали и не могли расшевелить рассказы о тех *предметах* *), которыми он прежде

*) Курсив в подлиннике.

жил. Слег он в постель дня за три до смерти, и кажется, надеялся до тех пор, пока жива была в нем память; накануне он стал заговориваться, однако, узнал Грановского, приехавшего в тот же день из Москвы. Перед самой смертью он говорил два часа, не переставая, как будто к русскому народу, и часто обращался к жене, просил ее все хорошенъко запомнить и верно передать эти слова кому следует; но из этой длинной речи почти ничего уже нельзя было разобрать; потом он вдруг замолк и через полчаса мучительной агонии умер. Бедная жена... не отходила от него ни на минуту и совершенно одна прислуживала ему, поворачивала и поднимала его с постели. Эта женщина... право, заслуживает всеобщее уважение; так усердно, с таким терпением, так безропотно ухаживала она за больным мужем всю зиму»....

Вот отрывки из писем Белинского ко мне:

Спб. 19 февраля 1847.
3 марта

«.... Когда вы собирались в путь, я знал наперед, чего лишаюсь в вас—но когда вы уехали, я увидел, что потерял в вас больше, нежели думал... После вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучал, как никогда в жизни не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8, или около 9—и целый день—особенно целый вечер—(с после-обеда)—дремлю—вот жизнь моя!

«....** получил от К-ра ругательное письмо, но не показал **. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает, все-таки, свое. При объяснении со мною он был нехорош: кашлял, заикался, говорил,

что на то, что я желаю, он, кажется, для моей же пользы, согласиться никак не может, по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин,—и сказал мои условия. Он повеселел, и теперь при свидании протягивает мне обе руки—видно, что доволен мною вполне! По тону моего письма вы можете ясно видеть, что я не в бешенстве и не в *преувеличении*. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него—за него, а не за себя. Мне трудно переболеть внутренним разрывом с человеком—а потом ничего. Природа мало дала мне способности не навидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю ***; и тем не менее, он в моих глазах—человек, у которого будет капитал, который будет богат—а я знаю, как это делается. Вот, уж начал с меня. Но довольно об этом.

«... Скажу, как новость: я, может-быть, буду в Силезии. Б. достает мне 2.500 руб. асс. Я было чисто отказался—ибо с чем же я бы оставил семейство—а просить, чтоб мне выдавали жалованье за время отсутствия—мне не хотелось. Но после объяснения с *** я подумал, что церемониться глупо... Он был очень рад, он готов был сделать все, только бы я... Я написал к Б., и теперь ответ его решит дело.

«Ваш «Каратаяев» хороший, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча»...

«...Мне кажется, у вас чисто творческого таланта или нет—или очень мало—и ваш талант однороден с Далем. Это ваш настоящий род. Вот, хоть бы «Ермолай и Мельничиха»—не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслью. А

в «Бреттере»—я уверен, вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место—в этом все для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, ваше призвание—наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию, но не опираться только на фантазию... Только ради Аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то, ни се; не то, чтоб нехорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение—лучшего не придумалось). А «Хорь» обещает в вас замечательного писателя—в будущем».

«...Гоголь сильно покаран общественным мнением и разруган во всех журналах; даже друзья его, московские славянофилы—и те отступились, если не от него, то от гнусной его книги»...

«Жена моя и все мои домашние, не исключая вашего крестника *)—кланяются вам»...

Спб. 1 (13) марта 1847.

«...Скажу вам, что я почти переменил мое мнение насчет источника известных поступков ***. Мне теперь кажется, что он действовал добросовестно, основываясь на объективном праве—а до понятия о другом, высшем, он еще не дорося—а приобрести его не мог по причине того, что вырос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу—из его примера—как этот идеализм и романтизм может быть полезен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они—этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло дурное на вкус лекарство,

*) Я был крестным отцом его сына.

даже и тогда, если, избавив его от смертной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни; главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло...

«Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он по этому предмету ко мне, к А—ву, к Г—ну, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ А—ва и прислал его мне. А—в дает мне 400 франков. Вы знаете, что это человек порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач—и по себе знаете, что за границей во всякое время 400 фр.—по крайней мере—не лишние деньги. Но это еще ничего—этого я всегда ожидал от А—ва, а вот что тронуло, ушипнуло меня за самое сердце: для меня этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь—а едет в Силезию! От этого, я вам скажу, можно даже сконфузиться—и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я А—ва, мне было бы досадно и неприятно такое происшествие. Отправиться я думаю на первом пароходе...»

Спб. 12 (24) апреля 1847.

«Пишу к вам несколько строк, мой любезный Т. Вскоре по получении вашего второго ко мне письма, в котором вы изъявляете свое удовольствие о здоровье моего сына—он умер. Это меня уходило страшно. Я не живу—а умираю медленною смертью. Но к делу. Я взял билет на Штеттинский пароход; он отходит 4 (16) мая...»

9 (21) мая я свиделся с Белинским в Штеттине, куда я выехал к нему навстречу. Мне писали из Петербурга, что смерть трехмесячного сына поразила его нескованно. Году не прошло, и он последовал за ним в могилу.

И вот, уже двадцать лет слишком прошло с тех пор—и я вызвал его дорогую тень... Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа; но я уже доволен тем, что он побыл со мной, в моем воспоминании...

„Человек он был!“

1868 г.

I.—Я получил от А. Д. Галахова письмо по поводу статьи о Белинском, появившейся, как известно, в „Вестнике Европы“ *). Помещаю здесь отрывок из этого письма. В нем почтенный автор, мнение которого в деле истории литературы и критики пользуется справедливым уважением и весом, до некоторой степени пополняет мои воззрения.

....Что касается до каких-либо ошибок в литературных суждениях или в фактах—то я не встретил ни единой. Могу лишь указать на одну, по моему мнению, неточность. Вы говорите, что Белинский, целя искусство как особую, совершенно естественную и законную сферу духовной деятельности человека, не был поклонником теории искусства для искусства, и в доказательство приводите его отзыв о стихотворении Пушкина: „Чернь“. Мне кажется, это не совсем так, по крайней мере, в хронологическом отношении. Отзыв принадлежит ко времени вашего знакомства с Белинским. До этого времени (до 1843 г.) он уже работал и в „Мольве“ с „Телескопом“, и в „Наблюдателе“, и в „Отечественных Записках“. Из некоторых критических статей его, здесь помещенных (особенно в „Наблюдателе“)—видно, что он признавал справедливость знаменитой формулы: цель искусства—само искусство. За что же он и напал так сильно на Менцеля (в „Отечественных Записках“), как не за то, что Менцель, в своей „Истории немецкой литературы“, подчинял эту последнюю целям, лежащим вне лите-

* Апрель, 1869, стр. 695.

ратурной области, требовал от нее служения политическим, гражданским и иным видам, и с этой точки зрения преследовал Гете, восхваляя Шиллера? Я помню, что однажды, когда я зашел к нему, он с искренним пафосом показывал мне портреты Гегеля, Гете, как высших представителей чистой мысли и чистого искусства".

За сим А. Д. Галахов, в подкрепление слов своих, приводит место из недавно вышедшего труда А. Станкевича: "Т. Н. Грановский" (стр. 114—116).

Очевидно, что я должен был сделать оговорку. Когда я познакомился с Белинским, мнения его были точно такие, какие я их представил: он изменил их незадолго перед тем. Политическая струя в нем снова забила сильнее.

II.—А. Н. Пыпин, в известной своей биографии Белинского, оспаривает мое воззрение на то, что я назвал неполитическим в темпераменте Белинского—и видит в его „сдержанности“ одну неизбежную уступку особым условиям того времени.—Я готов согласиться с почтенным ученым: весьма вероятно, что оценка г. Пыпина этой стороны характера нашего великого критика—вернее моей—о чем долгом считаю объясняться перед читателями. Тот „огонь“, о котором я упомянул, никогда не угасал в нем, хотя не всегда мог вырваться наружу.

Париж.—Сентябрь 1879.

Г о г о л ь.

(Жуковский, Крылов, Лермонтов, Загоскин).

Меня свел к Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Помню день нашего посещения: 20-е октября 1851 года. Гоголь жил тогда в Москве, на Никитской, в доме Талызина, у графа Толстого. Мы приехали в час пополудни; он немедленно нас принял. Комната его находилась возле сеней, направо. Мы вошли в нее—и я увидел Гоголя, стоявшего перед contadorкой с пером в руке. Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. За неделю до того дня я его видел в театре, на представлении «Ревизора»; он сидел в ложе бель-этажа, около самой двери—и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену, через плечи двух дюжих дам, служивших ему защитой от любопытства публики. Мне указал на него сидевший рядом со мною Ф. Я быстро обернулся, чтобы посмотреть на него; он вероятно заметил это движение и немного отодвинулся назад, в угол. Меня поразила перемена, происшедшая в нем с 1841 года. Я раза два встретил его тогда у Авдотьи Петровны Е—ной. В то время он смотрел приземистым и плотным малороссом; теперь он казался худым и испытым человеком, которого уже успела на порядках измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно-проницательному выражению его лица.

Увидев нас со Щепкиным, он с веселым видом пошел к нам навстречу и, пожав мне руку, промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми». Мы сели. Я — рядом с ним, на широком диване; Михаил Семенович — на креслах, возле него. Я по пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатого, гладкого, белого лба попрежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость — именно веселость, а не насмешливость; но вообще, взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались — так, по крайней мере, мне показалось — темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское — что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и большое существо!» невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем и ехали к нему, как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых Душ», об этой второй части, над которой он так долго и так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертию, что он этого разговора не любит. О «Переписке с Друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не

мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе—а просто, жаждал видеться с человеком, творения которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание.

Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово—что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вискость и впечатлительность. Он говорил на *о*; других, для русского слуха менее любезных, особенностей малороссийского говора я не заметил. Все выходило ладно, складно, вкусно и метко. Впечатление усталости, болезненного, нервического беспокойства, которое он сперва произвел на меня—исчезло. Он говорил о значении литературы, о призвании писателя, о том, как следует относиться к собственным произведениям; высказал несколько тонких и верных замечаний о самом процессе работы, самой, если можно так выразиться, физиологии сочинительства; и все это—языком образным, оригинальным—и, сколько я мог заметить, нимало не подготовленным заранее, как это сплошь да рядом бывает у «знатностей». Только когда он завел речь о цензуре, чуть не величивая, чуть не одобряя ее, как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей—только тогда—мне показалось, что он черпает из готового арсенала. Притом, доказывать таким образом необходимость цензуры—не значило ли рекомендовать и почти похваливать

хитрость и лукавство рабства? Я могу еще допустить стих итальянского поэта: «*Si, servi siam; ma servi ognor frementi*» *); но самодовольное смижение и плутовство рабства... нет! лучше не говорить об этом. В подобных измышлениях и рассудительствах Гоголя слишком явно выказывалось влияние тех особ высшего полета, которым посвящена большая часть «Переписки»: оттуда шел этот затхлый и пресный дух. Вообще, я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим—лежала целая бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту—в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним.

Гоголь, вероятно, знал мои отношения к Белинскому, к Искандеру; о первом из них, об его письме к нему—он не заикнулся: это имя обожгло бы его губы. Но в то время только-что появилась—в одном заграничном издании—статья Искандера, в которой он, по поводу пресловутой «Переписки», упрекал Гоголя в отступничестве от прежних убеждений. Гоголь сам заговорил об этой статье. Из его писем, напечатанных после его смерти (о! какую услугу оказал бы ему издатель, если бы выкинул из них целые две трети, или, по крайней мере, все те, которые писаны к светским дамам.... более противной смеси гордыни и подыскивания, ханжества и тщеславия, пророческого и прихлебательского тона—в литературе не существует!)—из писем Гоголя мы знаем, какою нейзлечимой раной залегло в его сердце полное фиаскоего «Переписки»—это фиаско, в котором нельзя не при-

*) Мы рабы... да; но рабы, вечно негодующие.

ветствовать одно из немногих утешительных проявлений тогдашнего общественного мнения. И мы, с покойным М. С. Щепкиным, были свидетелями—в день нашего посещения—до какой степени эта рана наболела. Гоголь начал уверять нас—внезапно изменившись, торопливым голосом,—что не может понять, почему в прежних его сочинениях некоторые люди находят какую-то оппозицию, что-то такое, чему он изменил впоследствии;—что он всегда придерживался одних и тех же религиозных и охранительных начал—и, в доказательство того, готов нам указать на некоторые места в одной своей, уже давно напечатанной, книге... Промолвив эти слова, Гоголь с почти юношеской живостью вскочил с дивана и побежал в соседнюю комнату. Михаил Семеныч только брови возвел горé—и указательный палец поднял... «Никогда таким его не видал», шепнул он мне...

Гоголь вернулся с томом «Арабесок» в руках—и начал читать на выдержку некоторые места одной из тех детски-напыщенных и утомительно-пустых статей, которыми наполнен этот сборник. Помнится, речь шла о необходимости старого порядка, безусловного повиновения властям и т. п. «Вот, видите, твердил Гоголь, я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!... С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве.... Меня?»—И это говорил автор «Ревизора», одной из самых отрицательных комедий, какие когда-либо являлись на сцене! Мы с Щепкиным молчали. Гоголь бросил, наконец, книгу на стол и снова заговорил об искусстве, о театре; объявил, что остался недоволен игрою актеров в «Ревизоре», что они «тон потеряли», и что он готов им прочесть всю пьесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же ула-

дил, где и когда читать. Какая-то старая барыня приехала к Гоголю; она привезла ему просфору с вынутой частицей. Мы удалились.

Дня через два происходило чтение «Ревизора» в одной из зал того дома, где проживал Гоголь. Я выпросил позволение присутствовать на этом чтении. Покойный профессор Шевырев также был в числе слушателей и—если не ошибаюсь—Погодин. К великому моему удивлению, далеко не все актеры, участвовавшие в «Ревизоре», явились на приглашение Гоголя: им показалось обидным, что их словно хотят учить! Ни одной актрисы также не приехало. Сколько я мог заметить, Гоголя огорчил этот неохотный и слабый отзыв на его предложение.... Известно, до какой степени он скучился на подобные милости. Лицо его приняло выражение угрюмое и холодное; глаза подозрительно насторожились. В тот день он смотрел, точно, больным человеком. Он принялся читать—и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно... Я слушал его тогда в первый—и в последний раз. Диккенс также превосходный чтец, можно сказать, разыгрывает свои романы, чтение его—драматическое, почти театральное: в одном его лице является несколько первоклассных актеров, которые заставляют вас то смеяться, то плакать; Гоголь, напротив, поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет—есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление. Эффект выходил необычайный—особенно в комических,

юмористических местах; не было возможности не смеяться—хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренно дивясь ей, все более и более погружаться в самое дело—и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера. С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы). «Пришли, понюхали и пошли прочь!»—Он даже медленно оглянулся, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия. Я только тут понял, как вообще неверно, поверхностно, с каким желанием только поскорей насмешить—обыкновенно разыгрывается на сцене «Ревизор». Я сидел, погруженный в радостное умиление: это был для меня настоящий пир и праздник. К сожалению, он продолжался недолго. Гоголь еще не успел прочесть половину первого акта, как вдруг дверь шумно растворилась и, торопливо улыбаясь и кивая головою, промчался через всю комнату один еще очень молодой, но уже необыкновенно назойливый литератор—и, не сказав никому ни слова, поспешил занять место в углу. Гоголь остановился, с размаху ударил рукой по звонку—и с сердцем заметил вошедшему камердинеру: «Ведь я велел тебе никого не впускать?» Молодой литератор слегка пошевелился на стуле—а впрочем, не смутился никак. Гоголь отпил немного воды—и снова принялся читать; но уж это было совсем не то. Он стал спешить, бормотать себе под нос, не доканчивать слов; иногда он пропускал целые фразы—и только махал рукою. Неожиданное появление литератора его расстроило: нервы его, очевидно, не выдерживали малейшего толчка. Только в известной сцене, где Хлестаков завирается, Гоголь снова ободрился и возвысил голос: ему хотелось показать исполнявшему роль

Ивана Александровича, как должно передавать это действительно затруднительное место. В чтении Гоголя оно показалось мне естественным и правдоподобным. Хлестаков увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет,—и верит своему вранью: это нечто в роде упоения, наития, сочинительского восторга—это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило». «Присители в передней жужжат, 35 тысяч эстафетов скачут—а дурачье, мол, слушает, развесив уши, и какой я, мол, бойкий, игривый, светский молодой человек!» Вот какое впечатление производил в устах Гоголя Хлестаковский монолог. Но, вообще говоря, чтение «Ревизора» в тот день было—как Гоголь сам выразился—не более, как намек, эскиз; и все по милости непрошеннего литератора, который простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет.

В сенях я расстался с ним и уже никогда не видал его больше; но его личности было еще суждено возыметь значительное влияние на мою жизнь.

В последних числах февраля месяца следующего 1852 года я находился на одном утреннем заседании вскоре потом погибшего общества посещения бедных—в зале Дворянского Собрания,—и вдруг заметил И. И. Панаева, который с судорожной поспешностью перебегал от одного лица к другому, очевидно, сообщая каждому из них неожиданное и невеселое известие, ибо у каждого лица тотчас выражало удивление и печаль. Панаев, наконец, подбежал и ко мне—и с легкой улыбочкой, равнодушным тоном промолвил: «А ты знаешь, Гоголь помер в Москве, Ка-

же, как же... Все бумаги сжег—да помер“—помчался далее. Нет никакого сомнения, что, как литератор, Панаев внутренно скорбел о подобной утрате—притом же, и сердце он имел доброе—но удовольствие быть первым человеком, сообщающим другому огораживающую новость (равнодушный тон употреблялся для большего форсу)—это удовольствие, эта радость заглушали в нем всякое другое чувство. Уже несколько дней в Петербурге ходили темные слухи о болезни Гоголя; но такого исхода никто не ожидал. Под первым впечатлением сообщенного мне известия я написал следующую небольшую статью:

Письмо из Петербурга *).

Гоголь умер!—Какую русскую душу не потрясут эти два слова?—Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания,—пришла эта роковая весть!—Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!—Он умер, пораженный в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных уратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах—это дело будущей критики; должно

*). «Московские Ведомости» 1852 года, марта 13-го, № 32,
стр. 328 и 329.

надеяться, что она поймет свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитою повсюду вокруг нас; не оценять его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошенных слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку— соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлем ему издалека наш прощальный привет—и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли!—Мысль, что прах его будет покояться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоятся там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас невозвратно—и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения—все смолкает перед самою обыкновенною могилой! они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что ни-

кто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

T—e^{}).*

Я препроводил эту статью в один из петербургских журналов; но именно в то время цензурные строгости стали весьма усиливаться с некоторых пор... Подобные «crescendo» происходили довольно часто и—для постороннего зрителя—так же беспринципно, как, напр., увеличение смертности в эпидемиях. Статья моя не появилась ни в один из последовавших за тем дней. Встретившись на улице с издателем, я спросил его, что бы это значило?—«Видите, какая погода», отвечал он мне иносказательно речью: «и думать нечего». — Да ведь статья самая невинная, заметил я.— «Невинная ли, нет ли», возразил издатель:—«дело не в том; вообще, имя Гоголя не велено упоминать. Закревский на похоронах в андреевской ленте присутствовал: этого здесь переварить не могут». Вскоре потом я получил от одного приятеля из Москвы письмо, наполненное упреками: «Как! воскликнул он: — Гоголь умер, и хоть бы один журнал у вас в Петербурге отозвался! Это молчание постыдно!»— В ответе моем я объяснил—сознаюсь, в довольно резких выражениях—моему приятелю причину этого молчания,

*) По поводу этой статьи (о ней тогда же кто-то весьма справедливо сказал, что нет богатого купца, о смерти которого журналы не отзвались бы с большим жаром)—мне вспоминается следующее: одна очень высокопоставленная дама—в Петербурге—находила, что наказание, которому я подвергся за эту статью, было незаслуженно—и, во всяком случае, слишком строго, жестоко... Словом, она горячо заступалась за меня. „Но ведь вы не знаете, доложил ей кто-то—он в своей статье называет Гоголя великим человеком!“—Не может быть!—„Уверяю вас“.—A! в таком случае, я ничего не говорю: je regrette, mais je comprends qu'on ait dû sévir.

и в доказательство, как документ, приложил мою запрещенную статью. Он ее представил немедленно на рассмотрение тогдашнего попечителя московского округа—генерала Назимова—и получил от него разрешение напечатать ее в «Московских Ведомостях». Это происходило в половине марта, а 16 апреля я—за ослушание и нарушение цензурных правил—был посажен на месяц под арест в части (первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об «аромате птиц»)—а потом отправлен на жительство в деревню. Я нисколько не намерен обвинять тогдашнее правительство: попечитель с.-петербургского округа, теперь уже покойный Мусин-Пушкин, представил—из неизвестных мне видов—все дело, как явное неповинование с моей стороны; он не поколебался заверить высшее начальство, что *он призывал меня лично, и лично передал мне запрещение цензурного комитета печатать мою статью* (одно цензорское запрещение не могло помешать мне—в силу существовавших постановлений—подвергнуть статью мою суду другого цензора), *а я г. Мусина-Пушкина и в глаза не видал и никакого с ним объяснения не имел*. Нельзя же было правительству подозревать сановника, доверенное лицо,—в подобном искажении истины! Но все к лучшему; пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу: оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые, при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания.

Уже дописывая предыдущую строку, я вспомнил, что первое мое свидание с Гоголем происходило гораздо раньше, чем я сказал в начале. А именно: я

был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал(!) историю в с.-петербургском университете. Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре—он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры на стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран—и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории—и что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам, как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, яко бы от зубной боли—с совершенно-убитой физиономией—и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносую фигуру с двумя высоко торчавшими—в виде ушей—концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не помешало ему, однако, воскликнуть: «Непризнанный взошел я на кафедру—и непризнанный схожу с нее!»—Он был рожден для того, чтобы быть наставником своих современников; но только не с кафедры.

В предыдущем (первом) отрывке я упомянул о моей встрече с Пушкиным; скажу, кстати, несколько слов и о других, теперь уже умерших, литературных знаменитостях, которых мне удалось видеть. Начну с Жуковского. Живя—вскоре после двенадцатого года—в своей деревне, в Белевском уезде, он несколько

раз посетил мою матушку—тогда еще девицу—в ее Мценском имении; сохранилось даже предание, что он в одном домашнем спектакле играл роль волшебника, и чуть ли не видел я самый колпак его с золотыми звездами—в кладовой родительского дома. Но с тех пор прошли долгие годы—и, вероятно, из памяти его изгладилось самое воспоминание о деревенской барышне, с которой он познакомился случайно и мимоходом. В год переселения нашего семейства в Петербург—мне было тогда 16 лет—моей матушке вздумалось тогда напомнить о себе Василию Андреевичу. Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить чей сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до тех пор мне незнакомом дворце, когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского, и очутился перед трехаршинным красным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах—мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта—я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прильпе к гортани, и весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, я остановился, как вкопанный, на пороге двери, и только протягивал и поддерживал обеими руками—как младенца при крещении—несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жало-

сти в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему, наконец, в чем было дело,—и, как только мог, бросился бежать.

Уже тогда Жуковский, как поэт, потерял в глазах моих прежнее значение; но все-таки я радовался нашему, хотя и неудачному свиданию, и, придя домой, с особенным чувством припоминал его улыбку, ласковый звук его голоса, его медленные и приятные движения. Портреты Жуковского почти все очень похожи; физиономия его не была из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1843 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов «Певец во стане русских воинов»; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкые волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благость светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка)—сказывалось во всем его облике.

Несколько недель спустя меня еще раз свел к нему старинный приятель нашего семейства, Воин Иванович Губарев, замечательное, типическое лицо.

Небогатый помещик Кромского уезда, Орловской губернии, он во время ранней молодости находился в самой тесной связи с Жуковским, Блудовым, Уваровым; он в их кружке был представителем французской философии, скептического, энциклопедического элемента, рационализма, словом—XVIII века. Губарев превосходно говорил по-французски, Вольтера знал наизусть и ставил выше всего на свете; других сочинителей он едва ли читал; склад его ума был чисто французский, до-революционный, спешу прибавить. Я до сих пор помню его почти постоянный, громкий и холодный смех, его развязные, слегка цинические суждения и выходки. Уже одна его наружность осуждала его на одинокую—и независимую жизнь: это был человек весьма собою некрасивый, толстый, с огромной головой и рябинами по всему лицу. Долгое пребывание в провинции наложило на него, наконец, свою печать; но он остался «типом» до конца, и до конца, под бедным казакином мелкого дворянчика, носящего дома смазные сапоги, сохранил свободу и даже изящество манер. Я не знаю причины, почему он не пошел в гору, не составил себе карьеры, как его товарищи. Вероятно, в нем не было надлежащей настойчивости, не было честолюбия: оно плохо уживается с тем полу-равнодушным, полу-насмешливым эпикуреизмом, который он заимствовал от своего образца—Вольтера; а таланта литературного он в себе не признавал; фортуна ему не улыбнулась—он так и стушевался, заглох, стал бобылем. Но любопытно было бы проследить, как этот закоренелый вольтерианец в молодости обходился со своим приятелем, будущим «балладником» и переводчиком Шиллера! Большего противоречия и придумать нельзя; но сама жизнь есть не что иное, как постоянно побеждаемое противоречие.

Жуковский — в Петербурге — вспомнил старого приятеля и не забыл, чем можно было его порадовать: подарил ему новое, прекрасно переплетенное собрание полных сочинений Вольтера. Говорят, недолго до смерти — а Губарев жил долго — соседи видели его в его полуразрушенной хижинке, сидевшего за убогим столом, на котором лежал подарок его знаменитого друга. Он бережно переворачивал золотообрезные листы любимой книги — и в глухи степного захолустья, искренно, как и в дни молодости, тешился остротами, которыми забавлялись некогда Фридрих Великий в Сан-Суси и Екатерина Вторая в Царском Селе. Другого ума, другой поэзии, другой философии для него не существовало. Это, разумеется, не мешало ему носить на шее целую кучу образов и ладанок — и состоять под командой безграмотной ключницы... Логика противоречий!

С Жуковским я больше не встречался.

Крылова я видел всего один раз — на вечере у одного чиновного, но слабого петербургского литератора. Он просидел часа три слишком, неподвижно, между двумя окнами — и хоть бы словно промолвил! На нем был просторный поношенный фрак, белый шейный платок; сапоги с кисточками облекали его тучные ноги. Он опирался обеими руками на колени — и даже не поворачивал своей колоссальной, тяжелой и величавой головы; только глаза его изредка двигались под нависшими бровями. Нельзя было понять: что он, слушает ли и на ус себе мотает, или просто так сидит и «существует»? Ни сонливости, ни внимания на этом обширном, прямо русском лице — а только ума палата, да заматерелая лень, да по временам что-то лукавое словно хочет выступить наружу и не может — или не хочет — пробиться сквозь весь

этот старческий жир... Хозяин, наконец, попросил его пожаловать к ужину. «Поросенок под хреном для вас приготовлен, Иван Андреевич», заметил он хлопотливо и как бы исполняя неизбежный долг. Крылов посмотрел на него не то приветливо, не то насмешливо... «Так-таки непременно поросенок?»—казалось, внутренно промолвил он—грузно встал и, грузно шаркая ногами, пошел занять свое место за столом.

Лермонтова я тоже видел всего два раза: в доме одной знатной петербургской дамы, Княгини Ш....ой, и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном Собрании, под новый 1840 год. У Княгини Ш....ой, я, весьма редкий, непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц—белокурая графиня М. П.—рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток—и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш....у, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти детски-нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых, широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он

до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: «Глаза его не смеялись, когда он смеялся» *) и т. д.—действительно применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш....а он любил, как товарища—и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств. И дорого же он поплатился за них!—Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба.—На бале Дворянского Собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:

Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки... и т. д.

Скажу, кстати, два слова еще об одном умершем литераторе, хотя он и принадлежит к «diis minorum gentium», и уже никак не может стать наряду с поименованными выше—а именно, о М. Н. Загоскине. Он был коротким приятелем моего отца и в тридцатых

*) „Герой нашего времени“, стр. 280. Сочинения Лермонтова, изд. 1870 г.

годах, во время нашего пребывания в Москве, почти ежедневно посещал наш дом. Его «Юрий Милославский» был первым сильным литературным впечатлением моей жизни. Я находился в пансионе некоего г. Вейденгаммера, когда появился знаменитый роман; учитель русского языка—он же и классный надзиратель—рассказал, в часы рекреации, моим товарищам и мне его содержание. С каким пожирающим вниманием мы слушали похождения Кирши, слуги Милославского, Алексея, разбойника Омляша!—Но странное дело! «Юрий Милославский» казался мне чудом совершенства, а на автора его, на М. Н. Загоскина, я взирал довольно равнодушно. За объяснением этого факта ходить недалеко: впечатление, производимое Михаилом Николаевичем, не только не могло усилить те чувства поклонения и восторга, которые возбуждал его роман, но напротив—оно должно было ослабить их. В Загоскине не проявлялось ничего величественного, ничего фатального, ничего такого, что действует на юное воображение: говоря правду, он был даже довольно комичен, а редкое его добродушие не могло быть надлежащим образом оценено мною: это качество не имеет значения в глазах легкомысленной молодежи. Самая фигура Загоскина, его странная, словно сплюснутая голова, четырех-угольное лицо, выпученные глаза под вечными очками, близорукий и тупой взгляд, необычные движения бровей, губ, носа, когда он удивлялся или даже просто говорил, внезапные восклицания, взмахи рук, глубокая впадина, разделявшая надвое его короткий подбородок—all в нем мне казалось чудаковатым, неуклюжим, забавным. К тому же, за ним водились три, тоже довольно комические, слабости: он воображал себя необыкновенным силачом *); он был уверен, что ни-

*) Легенда о его силе проникла даже за границу. На одном публичном чтении в Германии я, к удивлению моему,

какая женщина не в состоянии устоять перед ним; и, наконец (и это в таком рьяном патриоте было особенно удивительно),—он питал несчастную слабость к французскому языку, который коверкал без милости, беспрестанно смешивая числа и роды, так что даже получил в нашем доме прозвище: «Monsieur Particle». Со всем тем, нельзя было не любить Михаила Николаевича за его золотое сердце, за ту безыскусственную откровенность нрава, которая поражает в его сочинениях.

Последнее мое свидание с ним было печально. Я навестил его, много лет спустя,—в Москве, незадолго перед смертью. Он уже не выходил из своего кабинета и жаловался на постоянную боль и ломоту во всех членах. Он не похудел, но мертвенная бледность покрывала его все еще полные щеки, придавая им тем более унылый вид. Взмахи бровей и таращение глаз остались те же; невольный комизм этих движений только усугублял чувство жалости, которую возбуждала вся фигура бедного сочинителя, явно клонившаяся к разрушению. Я заговорил с ним об его литературной деятельности, о том, что в петербургских кружках снова стали ценить его заслуги, отдавать ему справедливость; упомянул о значении «Юрия Милославского», как народной книги... Лицо Михаила Николаевича ожило. «Ну, спасибо, спасибо, ска-

услыхал балладу, в которой описывалось, как в столицу Московии прибыл геркулес Раппо, и, давая представления на театре, всех вызывал и всех побеждал; как внезапно, среди зрителей, не вытерпев посрамления соотечественников, поднялся der russische Dichter: stehet auf der Zagoskin! (с ударением на *кин*)—как он сразился с Раппо и, победив его, удалился скромно и с достоинством.

зал он мне:—а я уже думал, что я забыт, что нынешняя молодежь в грязь меня втоптала и бревном меня накрыла». (Со мной Михаил Николаевич не говорил по французски—а в русском разговоре он любил употреблять выражения энергические). «Спасибо», повторил он не без волнения, и с чувством пожал мне руку, точно я был причиною того, что его не забыли. Помнится, довольно горькие мысли о так называемой литературной известности пришли мне в голову тогда. Внутренно я почти упрекнул Загоскина в малодушии. Чему, думал я, радуется человек?—Но отчего же было ему не радоваться?—Он услыхал от меня, что не совсем умер... а ведь горше смерти для человека нет ничего. Иная литературная известность может, пожалуй, дожить до того, что и этой ничтожной радости не узнает. За период легко-мысленных восхвалений последует период столь же мало осмысленной браны, а там—безмолвное забвение... Да и кто из нас имеет право не быть забытым—право отягощать своим именем память потомков, у которых свои нужды, свои заботы, свои стремления?

А все-таки я рад, что я, совершенно случайно, доставил доброму Михаилу Николаевичу, перед концом его жизни,—хотя мгновенное удовольствие.

По поводу «Отцов и Детей».

Я брал морские ванны в Вентноре, маленьком городке на острове Уайте,—дело было в августе месяце 1860-го года,—когда мне пришла в голову первая мысль «Отцов и Детей», этой повести, по милости которой прекратилось—и кажется, навсегда—благосклонное расположение ко мне русского молодого поколения. Не однажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях «отправляюсь от идеи», или «проводжу идею»; иные меня за это хвалили, другие, напротив, порицали; с своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большою долею свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, по которой я бы мог твердо ступить ногами. Точно то же произошло и с «Отцами и Детьми»; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860-го года). В этом замечательном человеке воплотилось—на мои глаза—тогда народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета—и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая

поверить правдивость собственных ощущений. Меня смущал следующий факт: ни в одном произведении нашей литературы я даже намека не встречал на то, что мне чудилось повсюду; поневоле возникало сомнение: уж не за призраком ли я гонюсь? — Помнится, вместе со мною на острове Уайт жил один русский человек, одаренный весьма тонким вкусом и замечательной чуткостью на то, что покойный Аполлон Григорьев называл «веяниями» эпохи. Я сообщил ему занимавшие меня мысли и с немым изумлением услышал следующее замечание: «Да ведь ты, кажется, уже представил подобный тип... в Рудине?» Я промолчал: что было сказать? Рудин и Базаров — один и тот же тип?

Эти слова так на меня подействовали, что в течение нескольких недель я избегал всяких размышлений о затеянной мною работе; однако, вернувшись в Париж, я снова принялся за нее — фабула понемногу сложилась в моей голове: в течение зимы я написал первые главы, но окончил повесть уже в России, в деревне, в июле месяце. Осенью я прочел ее некоторым друзьям, кое-что исправил, дополнил, и в марте 1862 го года «Отцы и Дети» явились в «Русском Вестнике».

Не стану распространяться о впечатлении, произведенном этой повестью; скажу только, что когда я вернулся в Петербург, в самый день известных пожаров Апраксинского двора, — слово: «нигилист» уже было подхвачено тысячами голосов, и первое восклицание, вырвавшееся из уст первого знакомого, встреченного мною на Невском, было: «Посмотрите, что ваши нигилисты делают! жгут Петербург!» Я испытал тогда впечатления, хотя разнородные, но одинаково тягостные. Я замечал холодность, доходившую до

негодования, во многих мне близких и симпатических людях; я получил поздравления, чуть не лобзания, от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило... огорчало; но совесть не упрекала меня; я хорошо знал, что я честно, и не только без предубежденья, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу *); я слишком уважал призвание художника, литератора, чтобы покривить душою в таком деле. Слово: «уважать» даже тут не совсем у места; я просто иначе не мог и не умел работать; да и наконец, повода к тому не предстояло. Мои критики называли мою повесть «памфлетом», упоминали о «раздраженном», «уязвленном» самолюбии; но с какой стати стал бы я писать памфлет—на Добролюбова, с которым я почти не видался, но которого высоко ценил как человека и как талантливого писателя? Какого бы я ни был скромного мнения о своем даровании—я, все-таки, считал и считаю сочинение памфлета, «пасквиля», ниже его, недостойным его. Что же касается до «уязвленного» самолюбия, то замечу только, что статья Добролюбова о *последнем моем произведении перед „Отцами и Детьми“*—о *„Накануне“* (а он по праву считался выразителем общественного мнения)—что эта статья, явившаяся в 1861-м году, исполнена самых горячих—говоря по совести—самых незаслуженных похвал. Но господам критикам нужно было представить меня оскорблением памфлетистом: *«leur siège était fait»*—и еще в нынешнем году я мог прочесть в Приложении № 1-й к «Космосу» (стр. 96) следующие строки:

*) Позволю себе привести следующую выписку из моего дневника: „30-го июля, воскресение. Часа полтора тому назад я кончил, наконец, свой роман... Не знаю, каков будет успех—*Современник*”, вероятно, обольет меня презрением за Базарова и ** не поверит, что во все время писания я чувствовал к нему невольное влечение...“

«Наконец, всем известно, что пьедестал, на котором стоял г. Тургенев, был разрушен главным образом Добролюбовым...» а далее (на стр. 98) говорится о моем «ожесточении, которое г-н критик, впрочем, понимает—и пожалуй, даже извиняет».

Господа критики, вообще, не совсем верно представляют себе то, что происходит в душе автора, то, в чем именно состоят его радости и горести, его стремления, удачи и неудачи. Они, например, и не подозревают того наслаждения, о котором упоминает Гоголь и которое состоит в казнении самого себя, своих недостатков, в изображаемых вымышленных лицах; они вполне убеждены, что автор непременно только и делает, что «проводит свои идеи»; не хотят верить, что точно и сильно воспроизвести истину, реальность жизни—есть высочайшее счастье для литератора, даже если эта истина не совпадает с его собственными симпатиями. Позволю себе привести небольшой пример. Я—коренной, неисправимый западник, иисколько этого не скрывал и не скрываю; однако, я, несмотря на это, с особенным удовольствием вывел в лице Паншина (в «Дворянском гнезде»)—все комические и пошлые стороны западничества; я заставил славянофила Лаврецкого «разбить его на всех пунктах». Почему я это сделал—я, считающий славянофильское учение ложным и бесплодным? Поэтому, что в данном случае—таким именно образом, по моим понятиям, сложилась жизнь, а я прежде всего хотел быть искренним и правдивым. Рисуя фигуру Базарова, я исключил из круга его симпатий все художественное, я придал ему резкость и бесцеремонность тона—не из нелепого желания оскорбить

молодое поколение (!!!) *), а просто вследствие наблюдений над моим знакомцем, доктором Д. и подобными ему лицами. «Эта жизнь *так* складывалась», опять говорил мне опыт—может быть, ошибочный, но, повторяю, добросовестный; мне нечего было мудрить—и я должен был именно *так* нарисовать его фигуру. Личные мои наклонности тут ничего не значат; но, вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что, за исключением воззрений на художества,—я разделяю почти все его убеждения. А меня уверяют, что я на стороне «отцов...» я, который в фигуре Павла Кирсанова даже погрешил против художественной правды и пересолил, довел до карикатуры его недостатки, сделал его смешным! **).

*) В числе множества доказательств моей «злобы против юношества»—один критик привел и тот факт, что я заставил Базарова проиграть в карты отцу Алексею. „Не знает, мол, чем бы только уязвить и унизить его! И в карты, мол, не умеет играть!“ Нет никакого сомнения, что если бы я заставил Базарова выиграть—тот же критик с торжеством бы воскликнул: „Не явное ли дело?—Автор хочет дать понять, что Базаров шулер!“.

**) Иностранцы никак не могут понять беспощадных обвинений, возводимых на меня за Базарова. „Отцы и дети“ были переведены несколько раз на немецкий язык; вот что пишет один критик, разбирая последний перевод, появившийся в Риге („Vossische Zeitung, Donnerstag, d. 10 Juni, zweite Beilage, Seite 3): „Es bleibt für den unbefangenen... Leser schlechthin unbegreiflich, wie sich gerade die radicale Jugend Russlands über diesen geistigen Vertreter ihrer Richtung (Bazaroff), ihrer Ueberzeugungen und Bestrebungen, wie ihn T. zeichnete, in eine Wuth hinein erhitzen konnte, die sie den Dichter gleichsam in die Acht erklären und mit jeder Schmähung überhäufen liess. Man sollte denken, jeder moderne Radicale könne nur mit froher Genugthuung in einer so stolzen Gestalt, von solcher Wucht des Charakters, solcher gründlichen Freiheit von allem Kleinlichen, Trivialen, Faulen, Schläfern und Lügenhaften, sein und seiner Parteigenossen typisches Portrait dargestellt sehn“.—

То-есть:

Вся причина недоразумений, вся, как говорится, «беда» состояла в том, что воспроизведенный мною Базаровский тип не успел пройти чрез постепенные фазисы, через которые обыкновенно проходят литературные типы. На его долю не пришлось—как на долю Онегина или Печорина—эпохи идеализации, сочувственного превознесения. В самый момент появления *нового человека*—Базарова—автор отнесся к нему критически... объективно. Это многих сбило с толку—и кто знает! в этом была—быть может—if не ошибка, то несправедливость. Базаровский тип имел, по крайней мере, столько же права на идеализацию, как предшествовавшие ему типы. Я сейчас сказал, что отношения автора к выведенному лицу сбили читателя с толку: читателю всегда неловко, им легко овладевает недоумение, даже досада, если автор обращается с изображаемым характером, как с живым существом, то-есть, видит и выставляет его худые и хорошие стороны, а главное, если он не показывает явной симпатии или антипатии к собственному детищу. Читатель готов рассердиться: ему приходится не следовать по начертанному уже пути, а самому протаривать дорожку. «Очень нужно трудиться!» невольно рождается в нем мысль:—«книги существуют для развлечения, не для ломанья головы; да и что стоило автору сказать, как мне думать о таком-то

„Для непредубежденного... читателя остается совершенно непонятным, как могла радикальная русская молодежь, по поводу подобного представителя ее убеждений и стремлений, каким нарисовал Базарова Тургенев,—войти в такую ярость, что подвергла сочинителя формальной опале и осыпала его всяческой бранью? Можно было скорее предположить, что всякий новейший радикал с чувством радостного удовлетворения признает свой собственный портрет, своих единомышленников в таком гордом образе, одаренном такою силою характера, такой полной независимостью от всего мелкого, прошлого и ложного“.

лице—как он сам о нем думает!»—А если отношение автора к этому лицу свойства еще более неопределенного, если автор сам не знает, любит ли он или нет выставленный характер (как это случилось со мною в отношении к Базарову, ибо то «невольное влечение», о котором я упоминаю в моем дневнике—не любовь)—тогда уже совсем плохо! Читатель готов навязать автору небывалые симпатии или небывалые антипатии, чтобы только выйти из неприятной «неопределенности».

«Ни отцы, ни дети»—сказала мне одна остроумная дама, по прочтении моей книги:—«вот настоящее заглавие вашей повести—и вы сами нигилист». Подобное мнение высказалось еще с большей силой по появлении «Дыма». Не берусь возражать; быть-может, эта дама и правду сказала. В деле сочинительства всякий (сужу по себе) делает не то, что хочет, а то, что может—и на сколько удастся. Полагаю, что произведения беллетристики должно судить en gros—и, строго требуя добросовестности от автора, на остальные стороны его деятельности смотреть—не скажу—равнодушно, но спокойно. А в отсутствии добросовестности, при всем желании угодить моим критикам,—я признать себя виноватым не могу.

У меня, по поводу «Отцов и Детей», составилась довольно любопытная коллекция писем и прочих документов. Сопоставление их не лишено некоторого интереса. В то время, как одни обвиняют меня в оскорблении молодого поколения в отсталости, в мракобесии, извещают меня, что с «хохотом презрения сжигают мои фотографические карточки»,—дру-

гие, напротив, с негодованием упрекают меня в низкопоклонстве пред самым этим молодым поколением. «Вы ползаете у ног Базарова!» восклицает один корреспондент:—«вы только притворяйтесь, что осуждаете его; в сущности, вы заискиваете перед ним и ждете, как милости, одной его небрежной улыбки!»—Помнится, один критик, в сильных и красноречивых выражениях, прямо ко мне обращенных, представил меня вместе с г-м Катковым в виде двух заговорщиков, в тишине уединенного кабинета замышляющих свой гнусный ков, свою клевету на молодые русские силы. Картина вышла эффектная! На деле вот как происходил этот «заговор». Когда г. Катков получил от меня рукопись «Отцов и Детей», о содержании которой он не имел даже приблизительного понятия—он почувствовал недоумение *). Тип Базарова показался ему «чуть не апофеозой «Современника», и я бы не удивился, если б он отказался от помещения моей повести в своем журнале. *«Et voilà comme on écrit l'histoire!»* можно бы тут воскликнуть... но позволительно ли величать таким громким именем такие маленькие вещи?

* Надеюсь, что г-н Катков не посетует на меня за приведение некоторых мест из написанного ко мне в то время письма его:—„Если и не в апофеозу возведен г-н Базаров“, писал он, „то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь, или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать? В повести чувствуется, что автор хотел характеризовать начало мало ему сочувственное, но как будто колебался в выборе тона и бессознательно покорился ему. Чувствуется что-то несвободное в отношениях автора к герою повести, какая-то неловкость и принужденность. Автор перед ним как будто теряется и не любит, а еще пуще боится его!“ Далее, г-н Катков сожалеет о том, что я не заставил Одинцову обращаться ироничееки к Базаровым, и т. д.—все в том же тоне! Явно, что один из „заговорщиков“ не вполне доволен работой другого.

С другой стороны, я понимаю причины гнева, возбужденного моей книгой в известной партии. Они не лишены основания, и я принимаю—без ложного смиренния—часть падающих на меня упреков. Выпущенными мною словом: «нигилист» воспользовались тогда многие, которые ждали только случая, предлога, чтобы остановить движение, овладевшее русским обществом. Не в виде укоризны, не с целью оскорблении было употреблено мною это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося исторического—факта; оно было превращено в орудие доноса, бесповоротного осуждения,—почти в клеймо позора. Несколько печальных событий, совершившихся в ту эпоху, дали еще более пищи нарождавшимся подозрениям—и, как бы подтверждая распространенные опасения, оправдали старания и хлопоты наших «спасителей отечества...» ибо и у нас на Руси проявились тогда «спасители отечества». Общественное мнение, столь неопределенное еще у нас, хлынуло обратной волной... Но на мое имя легла тень. Я себя не обманываю; я знаю, эта тень с моего имени не сойдет. Но могли же другие люди—люди, перед которыми я слишком глубоко чувствую свою незначительность, могли же они промолвить великие слова: «*Rétrissent nos noms; pourvu que chose publique soit sauvée!*» *) В подражание им, я и могу себя утешить мыслью о принесенной пользе. Эта мысль перевешивает неприятность незаслуженных нареканий. Да и в самом деле—что за важность? Кто через двадцать, тридцать лет будет помнить обо всех этих бурях в стакане воды—и о моем имени—с тенью или без тени?

*) Т.-е.—пуской гибнут наши имена, лишь бы общее дело было спасено!

Но довольно говорить обо мне—и пора прекратить эти отрывочные воспоминания, которые, боюсь, мало удовлетворят читателей. Мне хочется только, перед прощанием, сказать несколько слов моим молодым современникам—моим братьям, вступающим на скользкое поприще литературы. Я уже объявил однажды, и готов повторить, что не ослепляюсь насчет моего положения. Мое двадцатипятилетнее «служение музам» окончилось среди постепенного охлаждения публики—и я не предвижу причины, почему бы она снова согрелась. Наступили новые времена, нужны новые люди; литературные ветераны подобны военным—почти всегда инвалиды—и благо тем, которые во-время умеют сами подать в отставку! Не наставническим тоном, на который я, впрочем, не имею никакого права—намерен я произнести мои прощальные слова, а тоном старого друга, которого выслушивают с полу-снисходительным, полу-нетерпеливым вниманием, если только он не вдается в излишнее разглагольствование. Я постараюсь его избегнуть.

Итак, мои молодые братья, к вам идет речь моя!

Greift nur hinein in's wolle Menschenleben!

сказал бы я вам со слов нашего общего учителя, Гете—

Ein jeder lebt's—nicht vielen ist's bekannt,
Und wo ihr's packt—da ist's interessant! *)

*) Т.-е.: „Запускайте руку (лучше я не умею перевести) внутрь, в глубину человеческой жизни! Всякий живет ею, не многим она знакома, и там, где вы ее схватите, там будет интересно!“

Силу этого «схватывания», этого «уловления» жизни дает только талант, а талант дать себе нельзя:—но и одного таланта недостаточно. Нужно постоянное общение с средою, которую берешься воспроизводить; нужна правдивость, правдивость неумолимая в отношении к собственным ощущениям; нужна свобода, полная свобода воззрений и понятий—и, наконец, нужна образованность, нужно знание!—«А! понимаем! видим, куда вы гнете!» воскликнут здесь, пожалуй, многие: — Потугинские идеи — ци-ви-ли-зация, *prenez ton ours!*—Подобные восклицания не удивят меня; но и не заставят отступиться ни от одной иоты. Учение—не только свет, по народной пословице—оно также и свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание,—и нигде так свобода не нужна, как в деле художества, поэзии: не даром даже на казенном языке художества зовутся «вольными», свободными. Может ли человек «схватывать», «уловлять» то, что его окружает, если он связан внутри себя? Пушкин это глубоко чувствовал; не даром в своем бессмертном сонете, в этом сонете, который каждый начинающий писатель должен вытвердить наизусть и помнить, как заповедь,—он сказал:

... дорогую свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум...

Отсутствием подобной свободы объясняется, между прочим, и то, почему ни один из славянофилов, несмотря на их несомненные дарованья *), не создал никогда ничего живого; ни один из них не сумел

*) Славянофилов, конечно, нельзя упрекнуть в невежестве, в недостатке образованности, но для произведения художественного результата нужно—говоря новейшим языком—совокупное действие многих факторов. Фактор, недостающий славянофилам,—свобода; другие нуждаются в образованности, третий—в таланте и т. д.

снять с себя—хоть на мгновенье—своих окрашенных очков. Но самый печальный пример отсутствия истинной свободы, проистекающего из отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л. Н. Толстого («Война и Мир»), которое, в то же время, по силе творческого, поэтического дара, стоит едва ли не во главе всего, что явилось в нашей литературе с 1840 года. Нет! без образования, без свободы в обширнейшем смысле—в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям и системам, даже к своему народу, к своей истории,—не мыслим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя.

Что же касается до окончательного результата, до окончательной оценки так-называемой литературной карьеры,—то и тут приходится вспомнить слова Гете:

Sind's Rosen—nun, sie werden blüh'n *)

Не признанных гениев нет—так же, как нет заслуг, переживающих свою урочную чреду. «Всякий рано или поздно попадает на свою полочку», говорил покойный Белинский. Уже и на том спасибо, коли в свое время и в свой час ты принес посильную лепту. Лишь одни избранники в состоянии передать потомству не только содержание, но и *форму* своих мыслей и воззрений, свою личность, до которой мас-се, вообще говоря, нет никакого дела. Обыкновенные индивидуумы осуждены на исчезновение в целом, на поглощение их потоком; но они увеличили его силу, расширили и углубили его круговорот—чего же больше?

*) Коли это розы—цвести они будут.

Кладу перо.... Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба. Друзья мои, не оправдывайтесь никогда, какую бы ни взводили на вас клевету; не старайтесь разъяснить недоразумения, не желайте — ни сами сказать, ни услышать «последнее слово». — Делайте свое дело — а то все перемелется. Во всяком случае, пропустите сперва порядочный срок времени — и взгляните тогда на все прошедшие дрязги с исторической точки зрения, как я попытался это сделать теперь. Пусть следующий пример послужит вам в назидание: — в течение моей литературной карьеры я только однажды попробовал «восстановить факты». А именно: когда редакция «Современника» стала в объявлениях своих уверять подписчиков, что она отказалась мне по негодности моих убеждений, (между тем как отказал ей я — несмотря на ее просьбы — на что у меня существуют письменные доказательства), я не выдержал характера, я заявил публично, в чем было дело — и, конечно, потерпел полное фиаско. Молодежь еще более вознаградила на меня... «Как смел я поднимать руку на ее идола! что за нужда, что я был прав! Я должен был молчать!» — Этот урок пошел мне в прок; желаю, чтоб и вы воспользовались им.

А просьба моя состоит в следующем: берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в челе которых блистает опять-таки Пушкин! — Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса! — Даже тем, которым не по вкусу «философские отвлеченностии» и «поэтические нежности», людям практическим, в глазах которых язык

не что иное, как средство к выражению мысли, как простой рычаг,—даже им скажу я: уважайте, по крайней мере, законы механики, извлекайте из каждой вещи всю возможную пользу!—А то, право, пробегая иные вялые, смутные, бессильно-пространные разглагольствования в журналах, читатель невольно должен думать, что именно *рычаг*-то вы заменяете первобытными подпорками,—что вы возвращаетесь к младенчеству самой механики...

Но довольно, а то я сам впаду в многоречивость.

1868—1869.

Баден-Баден.

Наши послали!

Эпизод из истории июньских дней 1848 г. в Париже.

...Наступил четвертый из известных июньских дней 1848 года, тех дней, которые такими кровавыми чертами вписаны на скрижалях французской истории...

Я жил тогда в несуществующем ныне доме на углу улицы Мира и Итальянского бульвара. С самого начала июня в воздухе пахло порохом, каждый чувствовал, что решительное столкновение неизбежно; а после свидания делегатов от только-что распущенных национальных мастерских с членом временного правительства Мари, который в обращенной к ним речи необдуманно произнес слово «рабы» (*esclaves*), принятые ими за упрек и обиду, после этого свидания уже весь вопрос состоял в том, не сколько дней, а сколько часов оставалось до того неизбежного, неотвратимого столкновения? «Est-ce pour aujourd'hui?» (Сегодня, что ли?) — вот какими словами приветствовали знакомые друг друга каждое утро...

«Ça a commençé!» (началось!), сказала мне в пятницу утром, 23 июня, прачка, принесшая белье. По ее словам, большая баррикада была воздвигнута по-перек бульвара, недалеко от ворот Сен-Дени. Я немедленно отправился туда.

Сначала ничего особенного не было заметно. Те же толпы народа перед открытыми кофейными и магазинами, то же движение карет и омнибусов; лица казались несколько оживленнее, разговоры громче и — странное дело! — веселее... вот и все. Но чем даль-

ше я подвигался, тем более изменялась физиономия бульвара. Кареты попадались все реже, омнибусы совсем исчезли; магазины и даже кофейни запирались спешно — или уже были заперты: народу на улице стало гораздо меньше. Зато во всех домах окна были раскрыты сверху до низу; в этих окнах, а также на порогах дверей, теснилось множество лиц, преимущественно женщин, детей, служанок, нянек, — и все это множество болтало, смеялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, машало руками — точно готовилось к зреющему; беззаботное, праздничное любопытство, казалось, охватило всю эту толпу. Разноцветные ленты, косынки, чепчики, белые, розовые, голубые платья путались и пестрели на ярком летнем солнце, вздымались и шуршали на легком летнем ветерке — так же, как и листья на всюду посаженных тополях — «деревьях свободы». «Неужели же тут, сейчас, через пять, через десять минут будут драться, проливать кровь?» думалось мне. «Невозможно! Это разыгрывается комедия... О трагедии нечего думать... пока».

Но вот, впереди, криво пересекая бульвар во всю его ширину, вырезалась неровная линия баррикады — вышиною аршина в четыре. По самой ее середине, окруженное другими, трехцветными, расшитыми золотом знаменами, небольшое красное знамя шевелило — направо, налево — свой острый, зловещий язычек. Несколько блузников виднелось из-за гребня наваленных серых камней. Я пододвинулся поближе. Перед самой баррикадой было довольно пусто, человек пятьдесят — не более — бродило взад и вперед по мостовой. (Тогда еще не было макадама на бульварах). Блузники пересмеивались с подходившими зрителями; один, подпоясанный белой солдатской портупеей, протягивал им раскупоренную бутылку и до половины налитый стакан, как бы приглашая их по-

дойти и выпить; другой, рядом с ним, с двухствольным ружьем за плечами, протяжно кричал: «Да здравствуют национальные мастерские! Да здравствует республика, демократическая и социальная!». Подле него стояла высокая, черноволосая женщина в полосатом платье, тоже подпоясанная портупеей с заткнутым пистолетом; она одна несмеялась и, как бы в раздумье, устремила прямо перед собою свои большие, темные глаза. Я перебрался через улицу налево—и вместе с пятью, шестью такими же фланерами, как я, приютился к самой стенке дома, с которого начинала ломаться прямая линия бульвара и в котором помещалась—да и теперь помещается—фабрика Жувенских перчаток. Жалузъ окон в этом доме были закрыты. Мне еще не верилось, несмотря на ожидания и предчувствия минувших дней, что дело примет оборот серьезный.

Между тем, все громче и ближе слышались барабаны. Уж с утра по всем улицам раздавался тот особенный троекратный бой—*le rappel*—тот бой, которым созывалась национальная гвардия. И вот, медленно волнуясь и вытягиваясь, как длинный, черный червяк, показалась, с левой же стороны бульвара, шагах в двухстах от баррикады, колонна гражданского войска; тонкими, лучистыми иглами сверкали над нею штыки; несколько офицеров ехали верхом в ее голове. Колонна достигла противоположной стороны бульвара, и, заняв его сплошь, повернулась фронтом к баррикаде, и остановилась, беспрестанно наростая сзади и все более и более густея. Несмотря на прибытие такого значительного количества людей, кругом стало заметным образом тише; голоса понизились, реже и короче раздавался смех; точно дымка легла на все звуки. Между линией национальной гвардии и баррикадой внезапно оказалось пустое пространство, по которому, слегка крутясь, скользили два, три неболь-

шие вихря пыли—и, озираясь по сторонам, расхаживала на тонких ножках чернопегая собаченка. Вдруг, неизвестно где, спереди или сзади, сверху или снизу, резко грянул короткий, жесткий звук; он походил более на стук тяжело упавшей железной полосы, чем на выстрел, и тотчас вслед за этим звуком наступила страшная, бездыханная тишина. Все так и замерло в ожидании,—казалось, самый воздух насторожился... и вдруг, над самой моей головой, что-то нестерпимо сильно затрещало и рявкнуло—точно мгновенно разорванный громадный холст... Это инсургенты дали залп сквозь жалузи окон из верхнего этажа занятой ими Жувенской фабрики. Мои соседи фланеры и я—мы немедленно устремились вдоль домов бульвара (помнится, я еще успел заметить на пустом пространстве впереди человека на четвереньках, упавшее кэпи с красным помпоном, да вертевшуюся в пыли чернопегую собаченку) и, добежав до небольшого переулка, тотчас повернули в него. К нам присоединилось десятка два других зрителей, из которых у одного молодого человека лет двадцати была прострелена плюсна. На бульваре позади нас беспрерывно трещали выстрелы. Мы перебрались на другую улицу—если не ошибаюсь—в Rue de l'Echiquier. На одном ее конце виднелась низенькая баррикада—и мальчишка лет двенадцати прыгал по ее гребню, кривляясь и махая турецкой саблей; толстый национальный гвардеец, бледный как полотно, пробежал мимо, спотыкаясь и охая на каждом шагу... из рукава его мундира капала на землю алая кровь.

Трагедия началась—и в серьезности ее уже нельзя было сомневаться, хотя едва ли кто-нибудь даже в ту минуту подозревал, каких она достигнет размеров.

Мне не приходилось драться ни по ту, ни по сю сторону баррикад; я вернулся домой.

Целый день прошел в несказанной тревоге. Погода была жаркая, душная... Я не сходил с Итальянского бульвара, запруженного всякого сорта людьми.—Распространялись самые невероятные слухи, беспрестанно сменяясь другими, еще более фантастическими. К ночи одно стало несомненным: почти целая половина Парижа находилась во власти инсургентов. Баррикады возникали повсюду—особенно по ту сторону Сены; войска занимали стратегические пункты; готовился бой не на живот, а на смерть.—На следующий день, с раннего утра, вид бульвара—вообще внешний вид Парижа, не занятого инсургентами,—изменился, как по манио волшебного жезла. Вышел приказ начальника парижской армии, Кавенъяка, запрещающий всякого рода движение, циркуляцию по улицам.—Национальные гвардейцы, парижские и провинциальные, выстроенные по троттуарам, караулили дома, в которых квартировали; регулярные войска, подвижная национальная гвардия (*garde mobile*) дрались; иностранцы, женщины, дети, больные сидели по домам, в которых все окна должны были быть раскрыты настежь, для предупреждения засады. Улицы мгновенно вымерли. Лишь изредка прокатит почтовый омнибус или карета медика, беспрестанно останавливающаяся часовыми, которым он показывает пропускной билет; или с грубым грохотом и гулом проедет батарея, направляясь к месту битвы, пройдет отряд солдат, проскачет адъютант или ординарец. Наступило страшное, мучительное время; кто его не пережил, тот не может составить себе о нем точного понятия.—Французам, конечно, было жутко: они могли думать, что их родина, что все общество разрушается и падает в прах; но тоска иностранца, осужденного на невольное бездействие, была если не ужаснее, то уже наверно томительнее их негодования, их отчаяния.—Жара знойная; выйти нельзя; в раскрытые окна бес-

препятственно льется жгучая струя; солнце слепит; всякое занятие, чтение, писание немыслимо... Пять раз, десять раз в минуту раздаются пушечные выстрелы; иногда доносится ружейный треск, смутный гам битвы... По улицам хоть шаром покати; раскаленные камни мостовой желтеют, раскаленный воздух струится под лучами солнца; вдоль троттуаров тянутся смущенные лица, неподвижные фигуры национальных гвардейцев—и ни одного обычного жизненного звука! Просторно вокруг, пусто—а чувствуешь себя стесненным, как в могиле или в тюрьме.—С двенадцати часов новые зрелища: появляются носилки с ранеными, с убитыми... Вот проносят человека с седыми волосами, с лицом белым, как подушка, на которой он лежит:—это смертельно раненый депутат Шарбоннель... Головы безмолвно обнажаются перед ним—но он не видит этих знаков скорбного уважения: его глаза закрыты. Вот идет куча пленных; их ведут гардомобили, все молодые ребята, почти мальчики; на них сначала плохо надеялись, но они дрались как львы... Некоторые несут на штыках окровавленные кэпи своих убитых товарищей—или цветы, брошенные им женщинами из окон. — «*Vive la république!*» кричат с обеих сторон бульвара национальные гвардейцы, как-то дико и уныло протягивая последний слог:— «*Vive la mobi-i ile!*» Пленные идут, не поднимая глаз и прижимаясь друг к другу, как овцы: нестройная толпа, мрачные лица, многие в лохмотьях, без шапок; у иных руки связаны. А канонада не умолкает. Тяжелое, однообразное бухание так и стоит в вышине; оно повисло над городом вместе с чадом и гарью зноя... Под вечер из моей комнаты, в четвертом этаже, слышится нечто новое: к этому буханию присоединяются другие, резкие, гораздо более близкие, непродолжительные и как бы

веерообразные залпы... Это, сказывают, расстреливают инсургентов по мэриям (*mairies*).

И так часы за часами, часы за часами... Невозможно спать, даже ночью. Попытаешься выйти на бульвар, пройти хоть до первой улицы, чтобы узнать что-нибудь, или так — чтобы освежиться немножко... Сейчас тебя останавливают, спрашивают: кто ты, откуда, где живешь, зачем не в мундире? И узнав, что ты иностранец, подозрительно тебя оглядывают, повелительно отсылают домой. А раз, так даже один национальный гвардеец из провинции (они были самые рьяные) — непременно хотел арестовать меня — потому что на мне была утренняя куртка. «Вы ее надели для того, чтобы удобнее сойтись (*pactiser*) с бунтовщиками!» кричал он, как исступленный. — Кто вас знает, вы, может быть, русский агент — и у вас в карманах золото, предназначенное к тому, чтобы давать пищу нашим междоусобицам (*pour fomenter nos troubles!*)! Я предложил ему осмотреть мои карманы... но это еще более его рассердило. Русское золото, русские агенты всюду мерещились тогда, вместе с многими небывальщинами и нелепостями, всем этим возбужденным, сбитым с толку, потерянным головам...

Повторяю: страшное, томительное было время!

В такой, можно сказать, пытке прошли три дня; наступил четвертый (26 июня). Новости с места сражения доходили до нас довольно быстро, передаваясь от одного лица к другому вдоль троттуаров. Так, наприм., мы уже знали, что Пантеон взят, что весь левый берег Сены во власти войска, что генерал Бреа расстрелян инсургентами, что архиеписком Аффр на смерть ранен, что держится еще одно предместье Святого Антония. Помнится, мы читали прокламацию

Кавеняка, взывавшего в последний раз к чувству патриотизма, не исчезающему даже в самых ожесточенных сердцах... Ординарец, гусарский офицер, внезапно проскакал вдоль бульвара и, образовав пальцами правой руки кружок величиною с яблоко, заорал: «вот какими пулями они в нас стреляют!...»

В том же доме, где я квартировал, и на той же лестнице, жил известный немецкий поэт Гервег, с которым я был знаком; я часто заходил к нему, чтоб хотя несколько отвести душу... уйти от самого себя, от ноющей тоски бездействия и одиночества.

Вот, я сижу у него 26 июня утром,—он только что позавтракал... Вдруг входит гарсон с перетревоженным лицом.

— Что такое?

— Вас, мсьё Гервег, какая-то блузка спрашивает!

— Блузка? Какая блузка?

— Человек в блузке, работник, старик спрашивает *гражданина* (*le citoyen*) Гервега. Прикажете его принять?

Гервег переглянулся со мною.—Примите, сказал он наконец.

Гарсон уделился, повторяя, как бы про себя «человек... в блузке!!» Он ужасался; а давно ли, вскоре после февральских дней, блузка считалась самым модным, приличным и безопасным костюмом? Давно ли я, на одном даровом представлении в *Théâtre Français*, предназначенном для народа, видел, своими глазами видел множество самых изысканных щеголей так-называемого бомонда, облекшихся в белые и синие блузы, из-под которых странно выглядывали их накрахмаленные воротнички и жабо? Но другие времена—другие нравы; в эпоху июньской битвы блузка в Париже сделалась знаком отвержения, печатью Каина, вызывала чувство ужаса и злобы.

Гарсон возвратился—и с немотствующим содроганьем пропустил вперед себя человека, шедшего по

его следам, действительно одетого в блузу, истрепанную, замаранную блузу. Панталоны этого человека, башмаки его были тоже запачканы и в заплатах, шею обвертывала красная тряпка,—а голову покрывала шапка... шапка черно-серых, спутанных, нависших на самые брови волос. Из-под этой шапки выделялся длинный нос с горбиной, выглядывали маленькие, старчески-воспаленные и тусклые глаза. Впалые щеки, морщины по всему лицу, глубокие как рубцы, широкий, скривленный рот, небритая борода, красные, грязные руки и та особая сутулина спинного хребта, в которой сказывается гнет продолжительной, сверхсильной работы... Не было сомненья: перед нами стоял один из тех многочисленных тружеников, голодных и темных, которыми так изобилуют неизменные слои цивилизованных обществ.

— Кто здесь гражданин Гервег? — спросил он сиплым голосом.

— Я Гервег, — отвечал немецкий поэт, не без некоторого смущенья.

— Вы ждете вашего сына вместе с его бонной — из Берлина?

— Да, действительно... Почем вы знаете? Он должен был четвертого дня выехать... но я полагал...

— Ваш мальчик приехал вчера; но так как станция железной дороги в Сен-Дени в руках у наших — (при этом слове гарсон чуть не подпрыгнул от испуга) и сюда его послать было невозможно, то его отвели к одной из наших женщин — вот, тут, на бумажке, его адрес написан, — а мне наши сказали, чтоб я пришел к вам — дабы вы не беспокоились. И бонна его с ним: помещение хорошее — кормить их будут обоих. И опасности нет. Когда все покончится — вы его возьмите — вот, по этой бумажке. Прощайте, гражданин.

Старик пошел — было к двери...

— Постойте, постойте! возопил Гервег,—не уходите!

Старик остановился—но не повернулся к нам лицом.

— Неужели же—продолжал Гервег—вы только для того сюда пришли, чтобы успокоить меня, незнакомого вам человека, насчет моего сына?

Старик поднял свою понурую голову.—Да. Меня наши послали.

— Только для этого?

— Да.

Гервег всплеснул руками.—Но помилуйте... я... я, просто, не знаю, что сказать. Я удивляюсь, каким образом вы могли дойти досюда! Вас, наверное, на каждом перекрестке останавливали?

— Да.

— Спрашивали, куда вы идете, зачем?

— Да. Все на руки смотрели, есть ли следы пороха. Попался один офицер... тот грозился расстрелять меня.

Гервег онемел от удивления; гарсон тоже вытаращил глаза. «*C'est trop fort*» бессознательно шептали его побледневшие губы.

— Прощайте, гражданин,—отчетливо произнес старик, как бы решившись уйти. Гервег бросился и удержал его.

— Постойте... подождите... позвольте поблагодарить вас...

Он начал шарить у себя в карманах.

Старик отклонил его своей широкой, не разгибавшейся рукой:—Не беспокойтесь, гражданин: денег я не возьму.

— Так, по крайней мере, позвольте предложить вам... хоть завтрак... ну, стакан вина... что-нибудь...

— От этого я не откажусь,—промолвил старик после небольшого молчания.—Я, вот, второй день почитай-что не ел.

Гервег тотчас услал гарсона за завтраком, а пока попросил своего гостя присесть. Тот тяжко опустился на стул, положил обе ладони на колени и потупился...

Гервег принялся его расспрашивать... но старик отвечал неохотно, угрюмым тоном: видно было, что он устал сильно— а впрочем, ни волнения никакого не ощущал, ни страха,—и на все махнул рукой. Да и беседа с «буржуа» была ему не по вкусу. За завтраком он, однако, несколько оживился. Сперва ел и пил с жадностью, а потом понемногу стал разговаривать.

— Мы, в феврале,—так рассуждал он: обещали временному правительству, что будем ждать три месяца; вот они прошли, эти месяцы, а нужда все та же; еще больше. Временное правительство обмануло нас: обещало много—и ничего не сдержало. Ничего не сделало для работников. Деньги мы все свои проели, работы нет никакой, дела стали. Вот тебе и республика! Ну, мы и решились, все равно пропадать!

— Но, позвольте, заметил-было Гервег:—какую вы могли ожидать пользу от такого безумного восстания?

— Все равно пропадать, повторил старики. Он тщательно утер губы, сложил салфетку, поблагодарил и приподнялся.

— Вы уходите?—воскликнул Гервег.

— Да. Мне надо к нашим. Чего мне здесь оставаться!

— Да ведь вас на возвратном пути наверное задержат и, быть-может, в самом деле расстреляют!

— Быть-может. Так, что ж из этого? Пока жив, надо самому хлеб для семьи доставать, а как его

доставать-то?!—А коли убют, сирот наши люди не оставят без призрения. Прощайте, гражданин!

— Скажите мне ваше имя, по крайней мере! Я желаю знать, как зовут того, кто так много для меня сделал!

— Мое имя вам совсем не нужно знать. Правду сказать, то, что я сделал, я сделал не для вас, а наши приказали. Прощайте.

Так стариk и ушел, сопровождаемый гарсоном.

В тот же день восстание было окончательно подавлено. Как только проезд стал свободен, Гервег по оставленному адресу отыскал женщину, приютившую его сынишку. Ее муж и сын были захвачены в плен; другой сын погиб на баррикаде; племянника расстреляли. Она тоже отказалась от денег; но, указавши на бегавших по комнате двух девочек, дочерей ее убитого сына, промолвила:—Если мне когда-нибудь придется попросить что-нибудь для этих, так пусть мальчик ваш вспомнит о них.

Участь старика, посетившего Гервега, осталась неизвестной. Нельзя было не подивиться его поступку, той бессознательной, почти величавой простоте, с которой он совершил его. Ему, очевидно, и в голову не приходило, что он сделал нечто необыкновенное, собою пожертвовал. Но нельзя также не удивиться и тем людям, которые его послали, которые в самом пылу и развале отчаянной битвы могли вспомнить о душевной тревоге незнакомого им «буржуа» и позаботились о том, чтобы его успокоить. Подобные им люди, правда, двадцать два года спустя, жгли Париж и расстреливали заложников; но кто хоть немножко знает сердце человеческое—не смутится этими противоречиями.

О соловьях.

Посылаю вам, любезный и почтеннейший С. Т., как любителю и знатоку всякого рода охот, следующий рассказ о соловьях, об их пеньи, содержаньи, способе ловить их и пр., списанный мною со слов старого и опытного охотника из дворовых людей. Я постарался сохранить все его выражения и самый склад речи.

Лучшими соловьями всегда считались курские; но в последние времена они похужели; и теперь лучшими считаются соловьи, которые ловятся около Бердичева, на границе; там, в пятнадцати верстах за Бердичевым, есть лес, прозвываемый Треяцким; отличные там водятся соловьи. Время их ловить — в начале мая. Держатся они больше в черемушнике и мелком лесе, и в болотах, где лес растет; болотные соловьи — самые дорогие. Прилетают они дни за три до Егорьева дня; но сначала поют тихо, а к маю в силу войдут, распоются. Выслушивать их надо по зарям и ночью, но лучше по зарям; иногда приходится всю ночь в болоте просидеть. Я с товарищем раз чуть не замерз в болоте: ночью сделался мороз, и к утру в блин льду на воде намерзло; а на мне был кафтанышка летний, плохенький; только тем и спасся, что между двух кочек свернулся, кафтан снял, голову закутал и дыхал себе на пузо под кафтаном; целый день потом зубами стучал. Ловить соловья дело не мудреное: нужно сперва хорошенько выслушать, где он держится, а там точёк на земле расчистить попладнее возле куста, расставить тайник и самку

пришпорить, за обе ножки привязать, а самому спрятаться да присвистывать дудочкой: такая дудочка делается, в роде пищика. А тайничек небольшой из сетки делается—с двумя дужками; одну дужку крепко к земле приспособить надо, а другую только приткнуть—и бечевку к ней привязать; соловей сверху как слетит к самке—тут и дернуть за бечевку, тайничек и закинется. Иной соловей очень жаден, так сейчас сверху пулей и бросится, как только за видит самку; а другой осторожен: сперва пониже спустится, да разглядывает—его ли самка. Осторожных лучше сетью ловить. Сеть плется сажен в пять; осыпешь ею куст или сухой дром, а осыпать надо слабо; как только спустится соловей—встанешь и погонишь его в сеть; он все низом летит, ну, и повиснет в петельках. Сетью ловить можно и без самки, одной дудочкой. Как поймаешь соловья, тотчас свяжи ему кончики крыльшек, чтобы не бился, и сажай его скорее в куролеску—такой ящик делается низенький, сверху и снизу холстом обтянут. Кормить пойманных словьев надо муравьиными яйцами —понемножку и почаще; они скоро привыкают и принимаются клевать. Не мешает живых муравьев в куролеску напустить: иной болотный соловей не знает муравьиных яиц—не видал никогда—ну, а как муравьи станут таскать яйца—в задор войдет—станет их хватать.

Соловьи у нас здесь ¹⁾ дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя, все колена мешают, трещат, спешат; а то вот еще у них самая гадкая есть штука: сделает этак: тру и вдруг: ви! —этак визгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей

¹⁾ В Мценском, Чернском и Белевском уездах.

должен петь разборчиво и не мешать колена,—а колена вот какие бывают:

Первое: *Пульканье*—этак: пуль, пуль, пуль, пуль..

Второе: *Клыканье*—клы, клы, клы, как желна.

Третье: *Дробь*—выходит, примерно, как по земле разом дробь просыпать.

Четвертое: *Раскат*—тттттттттттт..

Пятое: *Пленканье*—почти понять можно: плень, плень, плень.

Шестое: *Лешева дудка*—этак протяжно: го-го-го-го-го, а там коротко: ту!

Седьмое: *Кукушкин перелет*. Самое редкое колено; я только два раза в жизни его слыхивал—и оба раза в Тимском уезде. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист.

Восьмое: *Гусачек*. Га-га-га-га... У Малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит.

Девятое: *Юлиная стукотня*. Как юла—есть птица, на жаворонка похожая,—или как вот органчики бывают,—этакой круглый свист: фюююююю...

Десятое: *Почин*—этак: тии-вить, нежно, малиновкой. Это, по-настоящему, не колено, а соловьи обычно так начинают. У хорошего нотного соловья оно еще вот как бывает: начнет—тии-вить—а там: тук!—Это оттолчкой называется. Потом опять—тии-вить.... тук! тук! Два раза оттолчка—и в пол-удара, этак лучше; в третий раз: тии-вить—да как рассыплет вдруг, с... с.... дробью или раскатом—едва на ногах устоишь—обожжет! Этакой соловей называется с ударом или оттолчкой. У хорошего соловья каждое колено длинно/выходит, отчетливо, сильно; чем отчетливей, тем длинней. Дурной спешит: сделал колено, отрубил, скорее другое—и смешался. Дурак дураком и остался. А хороший—нет! Рассудительно поёт, правильно. Примется какое-нибудь колено чесать—не сойдет с него до истомы, проберет хоть

кого. Иной даже с оборотом—так длинен; пустит, например, колено дробь, что ли—сперва будто книзу, а потом опять в гору, словно кругом себя окружит, как каретное колесо перекатит,—надо так сказать. Одного я такого слыхал у мценского купца Ш....ва— вот был соловей! В Петербурге за 1.200 рублей ассигнацией продан.

По охотничьим замечаньям, хорошего соловья от дурного с виду отличить трудно. Многие даже самку от самца не узнают. Иная самка еще казистее самца. Молодого от старого отличить можно. У молодого, когда растопыришь ему крылья, есть на перышках пятнышки, и весь он темней; а старый—серее. Выбирать надо соловья, у которого глаза большие, нос толстый, и чтобы был плечист и высок на ногах. Тот-то соловей, что за 1.200 рублей пошел, был росту среднего. Его Ш....в под Курском у мальчика купил за двугривенный.

Соловей, коли в береже, до пяти зим перезимовать может. Кормить его надо зимою прусаками или сушеными муравьиными яйцами; только яйца надо брать не из красного леса, а из чернолесья, а то от смолы запор сделается. Вешать надо соловья не над окнами, а в середине комнаты, под потолком, и в клетке чтоб было нёбко мягкое, суконное или полотняное.

Болезнь на них бывает: вдруг примутся чихать. Скверная эта болезнь. Какой и переживает—на другую зиму наверное оклеет. Пробовал я табаком нюхательным по корму посыпать—хорошо выходило.

Петь начинают они с рождества—и ближе, сперва потихоньку; с великого поста, с марта месяца, настоящим голосом, а к Петрову дню перестают. Начинают они обыкновенно с пленкания... так жалобно, нежно: плень... плень... не громко— а по всей комнате слышно. Так звенит приятно, как стеклышики,

душу всю поворачивает. Как долго не слышу—всякий раз тронет, по животику так и пробежит, волосики на голове трогаются. Сейчас слезы—и вот они. Выдешь, поплачешь, постоишь.

Молодых соловьев хорошо доставать в Петровки. Надо подметить, куда старые корм носят. Иной раз три, четыре часа, пол-дня просижу, а уж замечу место. Гнездо они вьют на земле—из сухой травы и листочеков. Штук пять в гнезде бывает, а иногда и меньше. Молодых возьмешь да посадишь в западню—сейчас и старые попадутся. Старых надо поймать, чтобы молодых кормили. Посадишь всю семейку в куролеску, да муравьиных яиц насыпешь и животных муравьев напустишь. Старые сейчас примутся молодых кормить. Клетку потом завесить надо, а как молодые станут клевать сами, старых принять. Молодые, которых в Петровки из гнезда вынешь, живучее и петь скорее принимаются. Брать надо молодых от длинного, голосистого соловья. В клетке они не выводятся. На воле соловей перестает петь, как только детей вывел, а о Петровки он линяет. Сделает на лету коленцо—и кончено. Все только свистит. А поет он всегда сидя; на лету, когда за самкой ныряет, курлычет.

Молодых соловьев хорошо к старым подвешивать, чтобы учились. Повесить их надо рядом. И тут надо примечать: если молодой, пока старый поет, молчит и сидит, не шелохнется, слушает—из того выйдет прок—в две недели, пожалуй, готов будет; а какой не молчит, сам туда же за стариком бурлит—тот разве на будущий год запоет, как быть следует, да и то сомнительно. Иные охотники секретно, в шляпах, приносят молодых соловьев в трактир, где есть хороший соловей; сами пьют чай или пиво, а молодые тем временем учатся. Оттого лучше завешивать молодых, когда их к старому приносят.

Первые охотники до соловьев—купцы: тысячи рублей не жалеют. Мне белевские купцы давали двести рублей и товарища—и лошадь была ихняя... Посылали меня к Бердичеву. Я должен был две пары представить отличных соловьев, а остальные, хоть пятьдесят пар, в мою пользу.

Был у меня товарищ, охотник смертный до соловьев; часто мы с ним ездили. Подслеповат он был—много это ему мешало. Раз под Лебедянью выслушал он удивительного соловья. Приходит ко мне, рассказывает—так от жадности весь трясется. Стал его ловить—а сидел он на высокой осинке. Вот, однако, спустился, погнал, его товарищ в сеть; ткнулся соловей в сеть—и повис. Стал его товарищ брать—знать, руки у него дрожали—соловей вдруг как шмыгнет у него между ног—свистнул, запел и улетел. Товарищ так и завопил. Он потом божился, уверял меня, что он явственно чувствовал, как кто-то соловья у него из рук силой выдернул. Что ж! Всяко бывает. Принялся он опять манить его—нет! не тут-то было: оробел, знать, смолк. Целых десять дней товарищ потом за ним все ходил. Что же думаете? Соловей хоть бы чукнул—так и пропал. А товарищ чуть не рехнулся; насилиу его домой приташил. Возьмет, шапку б-земь грятет, да как начнет себя кулаком по лбу бить... А то вдруг остановится и закричит: «раскалывайте землю—в землю уйти хочу, туда мне дорога, слепому, неумелому, безрукуму».... Вот, как оно бывает чувствительно!

Случается, что друг у друга норовят хороших соловьев отбить, пораньше зайти на место. На всё нужно умение; да и без счастья тоже нельзя. Случается также, что отводят, колдовством то есть; а против этого—молитва. Раз я-таки страху набрался. Сижу я ночью под лесом, выслушиваю соловьев, а ночь такая темная-претемная... И вдруг мне показа-

лось, что будто уж это не по соловьиному что-то гремит, словно прямо на меня идет... Жутко мне стало, так что и сказать нельзя... вскочил, да и давай бог ноги. Мужики—те не мешают: тем все равно; еще смеются, пожалуй. Мужик груб: ему что соловей, что зяблик—все едино. Не их разума дело. Их дело—пахать, да на печи лежать с бабой. А я вам теперь все рассказал.

П е г а с.

Охотники часто любят хвастать своими собаками и превозносить их качества: это тоже род косвенного самовосхваления. Но несомненно то, что между собаками, как между людьми, попадаются умницы и глупыши, даровитости и бездарности, и попадаются даже гении, даже оригиналы¹⁾; а разнообразие их способностей «физических и умственных», нрава, темперамента—не уступит разнообразию, замечаемому в людской породе.—Можно сказать—и без особенной натяжки—что от долгого, за исторические времена восходящего сожительства собаки с человеком, она заразилась им—в хорошем и в дурном смысле слова: ее собственный нормальный строй несомненно нарушен и изменен,—как нарушена и изменена самая ее внешность. Собака стала болезненнее, нервознее, ее годы сократились; но она стала интеллигентнее, впечатлительнее и сообразительнее; ее кругозор расширился. Зависть, ревность—и способность к дружбе; отчаянная храбрость, преданность до самоотвержения—и позорная трусость и изменчивость; подозрительность, злопамятность—и добродушие; лукавство и прямота—все эти качества проявляются—иногда с поразительной силой—в перевоспитанной человеком собаке, которая гораздо больше, чем лошадь, заслуживает название «самого благород-

¹⁾ Весной 1871 года я видел в Лондоне, в одном цирке—собаку, которая исполняла роль „клоуна“, паяца; она обладала несомненным комическим юмором.

ного его завоевания»—по известному выражению Бюффона.

Но довольно философствовать: обращаюсь к фактам.

У меня, как у всякого «завзятого» охотника, перебывало много собак, дурных, хороших и отличных—попалась даже одна, положительно сумасшедшая, которая и кончила жизнь свою, выпрыгнув в слуховое окно сушильни, с четвертого этажа бумажной фабрики;—но лучший, без всякого сомнения, пес, которым я когда-либо обладал—был длинношерстый, черный с желтыми подпалинами кобель, по кличке «Пегас», купленный мной в окрестностях Карлсруэ у охотника-сторожа (*Jagdhüter*)—за сто двадцать гульденов—около восьмидесяти рублей серебром. Мне несколько раз—и впоследствии времени—предлагали за него тысячу франков. Пегас—(он жив еще до сих пор, хотя в начале нынешнего года почти внезапно потерял чутье, оглох, окривел и совершенно опустился)—Пегас—крупный пес с волнистой шерстью, с удивительно-красивой, громадной головой, большими карими глазами и необычайно умной и гордой физиономией. Породы он не совсем чистой: он является смесь английского сеттера и овчарной немецкой собаки: хвост у него толст, передние лапы слишком мясисты, задние несколько жидки.—Силой он обладал замечательной и был драчун величайший: на его совести, наверное, лежит несколько собачьих душ. О кошках я уже не упоминаю.—Начну с его недостатков на охоте: их немного и перечесть их недолго. Он боялся жары—и когда не было близко воды, подвергался тому состоянию, когда говорят о собаке, что она «заряяла»; он был также несколько тяжел и медлителен в поиске; но так как чутье у него было баснословное—я ничего подобного никогда не встречал и не видывал—то он, все-таки, находил дичь скорее и чаще, чем всякая другая собака. Стойка

его приводила в изумление — и никогда — никогда! он не врал — «*Коли Пегас стоит — значит, есть дичь*» — было общепринятой аксиомой между всеми нашими товарищами по охоте. Ни за зайцами, ни за какой другой дичью он не гонял ни шагу; но, не получив правильного, строгого, английского воспитанья, он, вслед за выстрелом, не выжидая приказания, бросался поднимать убитую дичь — недостаток важный! Он по полету птицы тотчас узнавал, что она подранена; — и если, посмотрев ей вслед, отправлялся за нею, подняв особенным манером голову, — то это служило верным знаком, что он ее сыщет и принесет. В полном развитии его сил и способностей — ни одна подстреленная дичь от него не уходила: он был удивительнейший «ретривер» (*retriver* — сыщик), какого только можно себе представить. Трудно перечесть, сколько он отыскал фазанов, забившихся в густой терновник, которым наполнены почти все германские леса, — куропаток, отбежавших чуть не полверсты от места, где они упали, — зайцев, диких коз, лисиц. Случалось, что его приводили на след — два, три, четыре часа после нанесения раны: стоило сказать ему, не возвышая голоса: «*Such, verloren!*» (шершь, потерял!) — и он немедленно отправлялся курц-галопом сперва в одну сторону, потом в другую — наткнувшись на след, стремительно, во все лопатки пускался по нем... Минута пройдет, другая... и уже заяц или дикая коза кричит под его зубами — или, вот, уже он мчится назад с добычей во рту. Однажды, на заячьей облаве, Пегас выкинул такую удивительную штуку, что я бы едва ли решился рассказать ее, если б не мог сослаться на целый десяток свидетелей. — Лесной загон кончился; все охотники сошлись на поляне, близ опушки. — «Я именно здесь ранил зайца» — сказал мне один из моих товарищей — и обратился ко мне с обычной просьбой: направить на

след Пегаса.—Должно заметить, что на эти облавы, кроме моего пса, прозванного: „*L'illustre Pégase*“— ни один не допускался. Собаки в этих случаях только мешают: сами беспокоятся и беспокоят своих владельцев—да своими движениями предостерегают и отгоняют дичь.—Егери-загонщики *своих* собак держат на сворах.—Мой Пегас, как только начиналась облава и раздавались крики—превращался в истукана, смотрел внимательно в чащу леса, чуть заметно поднимая и опуская уши—и даже дышать переставал; дичина могла проскочить под самым его носом—он едва дрогнет боками или облизнется—и только. Однажды заяц пробежал буквально по его лапам... Пегас удовольствовался тем, что показал пример, будто укусить его хочет. Возвращаюсь к рассказу.—Я скомандовал ему: *Such, verloren!* Он отправился—и через несколько мгновений мы услыхали крик пойманного зайца—и вот, уже мелькает по лесу красивая фигура моего пса—скачет он прямо ко мне.—(Он никому другому не отдавал своей добычи).—Внезапно, в двадцати шагах от меня,—он останавливается, кладет зайца на землю—и марш-марш назад! Мы все переглянулись с изумлением... «Что это значит?» спрашивают у меня:—«зачем Пегас не донес до вас зайца? Он этого никогда не делал?»—Я не знал, что сказать, ибо сам ничего не понимал—как вдруг опять в лесу раздается заячий крик—и Пегас опять мелькает по чаще с *другим* зайцем во рту!—Дружные, громкие руко-плескания его приветствовали.—Одни охотники могут оценить, какое тонкое чутье, какой ум и какой расчёт должны быть у собаки, которая, с только-что убитым, теплым зайцем во рту—в состоянии, на всем скаку, в виду хозяина, учゅять другого раненого зайца—и понять, что это издает запах именно *другой*—а не тот заяц, которого она держит между зубами!

В другой раз его навели на след раненой дикой козы. Охота происходила на берегу Рейна.—Он добежал до берега, бросился направо, потом налево—и, вероятно рассудив, что дикая коза, хоть и не дала больше следа, пропасть однако не могла—бухнулся в воду, переплыл рукав Рейна—(Рейн, как известно, против великолепного герцогства Баденского делится на множество рукавов)—и, выбравшись на противолежащий, заросший лозняками, островок, схватил на нем козу.

Еще вспоминаю я зимнюю охоту в самых вершинах Шварцвальда.—Везде лежал глубокий снег, деревья обросли громадным инеем, густой туман наполнял воздух и скрадывал очертанья предметов. Сосед мой выстрелил—и когда я, по окончании облавы, подошел к нему—сказал мне, что он стрелял по лисице—и вероятно ее ранил, потому что она взмахнула хвостом. Мы пустили по следу Пегаса—и он тотчас же исчез в белой мгле, окружавшей нас. Прошло пять минут, десять, четверть часа... Пегас не возвращался.—Очевидно, что мой сосед попал в лисицу: если дичь не была ранена, и Пегаса посыпали по пустому, он возвращался тотчас.—Наконец, в отдалении раздался глухой лай: он примчался к нам точно с другого света. Мы немедленно двинулись по направлению этого лая: мы знали, что когда Пегас не в состоянии был принести добычу—он лаял над нею. Руководимые изредка раздававшимися, отрывочными возгласами его баса, мы шли;—и шли мы точно как во сне—не видя почти, куда ставим ноги. Мы поднимались в гору, спускались в лощины, в снегу по колени, в сыром и холодном тумане; стеклянные иглы сыпались на нас с потрясенных нами ветвей... Это было какое-то сказочное путешествие.—Каждый из нас казался другому призраком—и все кругом имело призрачный вид. Наконец, что-то зачернело

впереди, на дне узкой ложбины: то был Пегас. Сидя на корточках, он свесил морду—и, как говорится, «насуворился»;—а перед самым его носом, в тесной яме между двумя плитами гранита, лежала мертвая лисица. Она заползла туда прежде чем околела—и Пегас не в состоянии был достать ее. Оттого он и оповестил нас лаем.

У него над правым глазом был незаросший шрам глубокой раны: эту рану нанесла ему лисица, которую он нашел еще живою, шесть часов после того, как по ней выстрелили—и с которой он вступил в смертный бой.

Вспоминаю я еще следующий случай.—Я был приглашен на охоту в Оффенбург, город, лежащий недалеко от Бадена.—Эту охоту содержало целое общество спортсменов из Парижа: дичи в ней, особенно фазанов, было множество.—Я, разумеется, взял с собой Пегаса. Нас всех было человек пятнадцать. У многих были отличные, большую частью английские, чистокровные собаки. Переходя с одной облавы на другую, мы вытянулись в линию по дороге вдоль леса, налево от нас зачиналось огромное, пустое поле; посередине этого поля—шагах от нас в пятистах—возвышалась небольшая кучка земляных груш—(topinambour). Вдруг мой Пегас поднял голову, повел носом по ветру и пошел размежеванным шагом прямо на ту отдаленную кучку засохших и вытянутых сплошных стеблей. Я остановился и пригласил г-д охотников итти за моей собакой—ибо «тут наверное что-нибудь есть». Между тем, другие собаки подскочили, стали вертеться и сновать около Пегаса,нюхать землю, оглядываться—но ничего не зачуяли; а он, нисколько не смущаясь, продолжал итти, как по струнке.—«Заяц, должно быть, где-нибудь в поле залег», заметил мне один парижанин. Но я по фигуре, по всей повадке Пегаса видел, что это не заяц,

и вторично пригласил г-д охотников итти за ним.— «Наши собаки ничего не чуют», отвечали они мне в один голос: — «вероятно, ваша ошибается». — (В Оффенбурге тогда еще не знали Пегаса). Я промолчал, взвел курки, пошел за Пегасом, который лишь изредка оглядывался на меня через плечо—и добрался, наконец, до кучки земляных груш. Охотники—хотя и не последовали за мною, однако все остановились и издали смотрели на меня.—«Ну, если ничего не будет?» подумал я— «осрамимся мы, Пегас, с тобою...» Но в это самое мгновенье целая дюжина самцов-фазанов с оглушительным треском взвилась на воздух—и я, к великой моей радости, сшиб пару, что не всегда со мной случалось,—ибо я стреляю посредственно.—«Вот-мол вам, г-да парижане,— и вашим чистокровным собакам!»—С убитыми фазанами в руках возвратился я к товарищам... Комplименты посыпались на Пегаса и на меня. Я, вероятно, выказал удовольствие на лице; а он—как ни в чем не бывало! даже не скромничал.

Без преувеличения могу сказать, что Пегас сплошь да рядом зачуевал куропаток за сто, за двести шагов. И несмотря на свой несколько ленивый поиск, как обдуманно он распоряжался: ни дать, ни взять, опытный стратегик! Никогда не опускал головы, не внююхивался в след, позорно фыркая и тыкая носом; он действовал постоянно верхним чутьем, *dans le grand style, la grande manière*, как выражаются французы.— Мне, бывало, почти с места сходить не приходилось: только посматриваю за ним. Очень забавляло меня охотиться с кем-нибудь, кто еще не знал Пегаса; получаса не проходило, как уже слышались восклицания: «вот так собака! Да это—профессор!»

Понимал он меня с полуслова; взгляда было для него достаточно. Ума палата была у этой собаки. В том, что он, однажды отстав от меня, ушел из

Карлсруэ, где я проводил зиму—и четыре часа спустя очутился в Баден-Бадене, на старой квартире,—еще нет ничего необыкновенного; но следующий случай показывает, какая у него была голова. В окрестностях Баден-Бадена как-то появилась бешеная собака и кого-то укусила; тотчас вышел от полиции приказ: всем собакам без исключения надеть намордники.— В Германии подобные приказы исполняются пунктуально, и Пегас очутился в наморднике. Это было ему неприятно до крайности; он беспрестанно жаловался—т.-е. садился напротив меня—и то лаял, то подавал мне лапу... но делать было нечего, надлежало покориться.— Вот, однажды моя хозяйка приходит ко мне в комнату и рассказывает, что накануне Пегас, воспользовавшись минутой свободы, зарыл свой намордник!— Я не хотел дать этому веры; но несколько мгновений спустя, хозяйка моя снова вбегает ко мне и шопотом зовет меня поскорее за собою. Я выхожу на крыльце—и что же я вижу? Пегас с намордником во рту пробирается по двору украдкой, словно на цыпочках—и, забравшись в сарай, принимается рыть в углу лапами землю—и бережно закапывает в нее свой намордник! Не было сомнения в том, что он воображал таким образом навсегда отделаться от ненавистного ему стеснения.

Как почти все собаки, он терпеть не мог нищих и дурно одетых людей—(детей и женщин он никогда не трогал)—а главное: он никому не позволял ничего уносить; один вид ноши за плечами или в руке возбуждал его подозрения—и тогда горе панталонам заподозренного человека—и, в конце-концов,—горе моему кошельку!—Много пришлось мне за него переплатить денег! Однажды слышу я ужасный гвалт в моем палисаднике. Выхожу—и вижу—за калиткой—человека дурно одетого—с разодранными «невыразимыми»—а перед калиткой Пегас в позе победителя.

Человек горько жаловался на Пегаса и кричал... но каменщики, работавшие на противоположной стороне улицы, с громким смехом сообщили мне, что этот самый человек сорвал в палисаднике яблоко с дерева—и только тогда подвергся нападению Пегаса.

Нрава он был—нечего греха таить—сурового и крутого; но ко мне привязался чрезвычайно, до нежности.

Мать Пегаса была в свое время знаменитость—и тоже пресуровая нравом; даже к хозяину она не ласкалась.—Братья и сестры его также отличались своими талантами; но из многочисленного его потомства ни один даже отдаленно не мог сравниться с ним.

В прошлом (1870) году он был еще превосходен—хотя начинал скоро уставать: но в нынешнем ему вдруг все изменило.—Я подозреваю, что с ним сделалось нечто в роде размягчения мозга. Даже ум покинул его—а нельзя сказать, чтоб он слишком был стар.—Ему всего девять лет.—Жалко было видеть эту поистине великую собаку, превратившуюся в идиота; на охоте он то принимался бессмысленно искать—т.-е. бежал вперед по прямой линии, повесив хвост и понурив голову—то вдруг останавливался и глядел на меня напряженно и тупо—как бы спрашивая меня, что же надо делать—и что с ним такое приключилось!—*Sic transit gloria mundi!* Он еще живет у меня на пенсиионе—но уж это не прежний Пегас—это жалкая развалина!—Я простился с ним не без грусти.—«Прощай!» думалось мне—«мой несравненный пес! Не забуду я тебя ввек, и уже не нажить мне такого друга!»

Да едва ли я теперь буду охотиться больше.

Париж.

Декабрь, 1871.

Пожар на море.

Это было в мае 1838 года.

Я находился вместе с множеством других пассажиров на пароходе «Николай I», делавшем рейсы между Петербургом и Любеком. Так как в то время железные дороги еще мало процветали, то все путешественники избирали морской путь. По этой же причине многие из них брали с собою собственные экипажи, чтобы продолжать свое путешествие по Германии, Франции и т. д.

У нас на корабле, помнится мне, было двадцать восемь господских экипажей. Нас, пассажиров, было около двухсот восьмидесяти, считая в этом числе человек двадцать детей.

Я был тогда очень молод и, не страдая морскою болезнью, очень был занят всеми этими новыми впечатлениями. На корабле было несколько дам, замечательно красивых или хорошеных—большая часть из них умерла, увы!

Матушка в первый раз отпустила меня ехать одного, и я должен был обещать ей вести себя благородно и, главное, не дотрогиваться до карт.... И вот, именно это-то последнее обещание и было нарушено первым.

В этот самый вечер было большое собрание в общей каюте,—между прочим, тут находилось несколько игроков, хорошо известных в Петербурге. Они каждый вечер играли в банк, и золото, которое в то время можно было видеть чаще, нежели теперь, оглушительно звенело.

Один из этих господ, видя, что я держусь в стороне, и не зная причины этого, неожиданно предложил мне принять участие в игре; когда я, с наивностью своих девятнадцати лет, объяснил ему причину своего воздержания,—он расхохотался и, обращаясь к своим товарищам, воскликнул, что нашел сокровище: молодого человека, никогда не дотрогивавшегося до карт и вследствие этого самого предназначенного иметь огромное неслыханное счастье, настоящее счастье простаков!...

Не знаю, как это случилось, но через десять минут я уже сидел за игорным столом, с руками, полными карт, имея обеспеченную долю в игре—и играл, играл отчаянно.

И нужно сознаться, что старая пословица не соврала. Деньги текли ко мне ручьями; две кучки золота возвышались на столе по обеим сторонам моих дрожащих и покрытых каплями пота рук. Игрок, который завлек меня, не переставал меня подбивать и поощрять.... Сказать по правде, я уж думал, что сразу разбогатею!...

Вдруг дверь каюты распахивается во всю ширину, в нее врывается дама вне себя, замирающим голосом восклицает: «пожар!» и падает в обморок на диван. Это произвело сильнейшее волнение; никто не остался на месте, золото, серебро, банковые билеты покатились и рассыпались во все стороны, и мы все бросились вон. Как мы раньше не заметили дыма, который набирался уже и в каюту? я этого совершенно не понимаю! лестница была полна им. Темнокрасное зарево, как от горящего каменного угля, вспыхивало там и сям. Во мгновение ока все были на палубе. Два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт: началась ужаснейшая суматоха, которая уже и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый: чув-

ствовалось, что отчаянное чувство самосохранения охватило все эти человеческие существа, и в том числе меня первого. Я помню, что схватил за руку матроса и обещал ему десять тысяч рублей от имени матушки, если ему удастся спасти меня. Матрос, который, естественно, не мог принять моих слов за серьезное, высвободился от меня; да я и сам не настаивал, понимая, что в том, что я говорю, нет здравого смысла. Впрочем, в том, что я видел вокруг себя, его было не более. Совершенно справедливо, что ничто не равняется трагизму кораблекрушения или пожара в море, кроме их комизма. Например: богатый помещик, охваченный ужасом, ползал по полу, неистово кладя земные поклоны; когда же вода, которую изобильно лили в отверстия угольных трюмов, на минуту укротила ярость пламени, он встал во весь рост и закричал громовым голосом: «Маловерные! неужели вы думали, что наш бог, русский бог, нас покинет?» Но в ту же минуту пламя метнуло сильнее и многоverующий бедняк опять упал на четвереньки и снова принялся бить земные поклоны. Какой-то генерал с угрюмо-растерянным взором не переставал кричать: «Нужно послать курьера к государю! К нему послали курьера, когда был бунт военных поселений, где я был, да, лично, и это спасло хоть некоторых из нас!» Другой барин, с дождевым зонтиком в руках, вдруг с ожесточением принялся прокалывать находившийся тут же, в багаже, дрянной портретишко, писанный масляными красками и привязанный к своему мольберту. Концом зонтика он проткнул пять дырок: на месте глаз, носа, рта и ушей. Разрушение это он сопровождал восклицанием: «К чему все это теперь?»—И эта картина ему не принадлежала! Толстый господин, весь в слезах, похожий на немецкого пивовара, не переставал вопить плаксивым голосом: «Капитан! Капитан!...» И когда капитан, вышедший из

терпенья, схватил его за шиворот и крикнул ему: «Ну? я капитан, что же вам нужно?» толстяк посмотрел на него с убитым видом и снова принялся стонать: «Капитан!».

И однако, этот же капитан всем спас жизнь. Во-первых, тем, что в последнюю минуту, когда еще можно было добраться до машины, изменил направление нашего судна, которое, идя прямо на Любек, вместо того, чтобы круто повернуть к берегу, непременно сгорело бы раньше, чем вошло в гавань; и во-вторых, тем еще, что приказал матросам обнажить кортики и без сожаления колоть всякого, кто попробует дотронуться до одной из двух оставшихся шлюпок,—все остальные опрокинулись благодаря неопытности пассажиров, хотевших спустить их в море.

Матrosы, большею частью датчане со своими энергическими и холодными лицами и чуть не кровавым отблеском пламени на лезвиях ножей, внушали невольный страх. Был довольно сильный шквал; он еще усилился от пожара, который ревел в доброй трети судна. Я должен сознаться, что бы там ни подумала об этом мужская половина рода человеческого, что женщины в этом случае показали больше мужества, нежели мужчины. Бледных как смерть ночь застала их в постелях (вместо всякой одежды на них были накинуты только одеяла), и как ни был я неверующий уже тогда, но они показались мне ангелами, сошедшими с неба, чтобы пристыдить нас и придать нам храбрости. Но были, однако, и мужчины, которые выказали бесстрашие. Я особенно помню одного, г. Д—ва, нашего бывшего русского посланника в Копенгагене: он скинул сапоги, галстук и сюртук, который завязал рукавами на груди, и, сидя на толстом натянутом канате, болтал ногами, спокойно куря свою сигару и оглядывая каждого из нас поочереди с видом насмешливого сожаления. Что ка-

саётся меня, то я нашел убежище на наружной лестнице, где и усился на одной из последних ступенек. Я с оцепенением смотрел на красную пену, которая клокотала подо мною и брызги которой долетали мне в лицо, и говорил себе: «Так вот где придется погибнуть в девятнадцать лет!»—потому что я твердо решился лучше утонуть, чем испечься. Пламя сводом выгибалось надо мною, и я очень хорошо отличал его вой от рева волн.

Недалеко от меня, на той же лестнице, сидела маленькая старушка, должно-быть, кухарка которого-нибудь из семейств, ехавших в Европу. Спрятав голову в руки, она, казалось, шептала молитвы,—вдруг она быстро взглянула на меня и, потому ли, что ей показалось, будто она прочла на моем лице пагубную решимость, или по какой другой причине, но она схватила меня за руку и почти умоляющим голосом настоятельно сказала: «Нет, барин, никто в своей жизни не волен,—и вы не вольны, как никто не волен. Что бог велит, то пусть и сбудется,—ведь это значило-бы на себя руки наложить, а за это бы вас на том свете покарали».

У меня не было до той минуты никакой охоты к самоубийству, но тут, из-за чего-то в роде хвастовства, совершенно необъяснимого в моем положении, я два или три раза притворился, будто хочу исполнить намерение, которое она предполагает во мне,—и каждый раз бедная старуха бросалась ко мне, чтобы помешать тому, что в глазах ее было преступлением. Наконец, мне сделалось стыдно, и я перестал. В самом деле, зачем играть комедию в присутствии смерти, которую в эту минуту я серьезно считал угрожающей и неизбежной? Впрочем, мне не хватило времени ни отдать себе отчета в этой странности чувств, ни восхититься отсутствием эгоизма (что теперь назвали бы альтруизмом) бедной женщины, потому

ЧТО в эту минуту рев пламени над нашими головами удвоил свою ярость; но как раз в ту же минуту голос, звеневший точно медь (это был голос нашего спасителя), раздался над нами: «Что вы там делаете, несчастные? Вы погибнете, идите за мною!» И тотчас, не зная, ни кто нас зовет, ни куда нужно итти, и старуха, и я вскочили, будто подтолкнутые пружиной, и бросились сквозь дым вслед за матросом в синей куртке, который, впереди нас, лез вверх по веревочной лестнице. Не зная зачем, и я полез за ним по этой лестнице; я думаю, если бы он в эту минуту бросился в воду или сделал бы вообще что бы то ни было, совсем необыкновенное, я слепо последовал бы за ним.... Взобравшись на две или три ступеньки, матрос тяжело спрыгнул на верх одного из экипажей, низ которого уже загорался. Я прыгнул за ним и слышал, как старуха прыгнула за мною; потом с этого первого экипажа матрос прыгнул на второй, потом на третий, я все время позади него—и мы таким образом очутились на носу парохода.

Почти все пассажиры собрались здесь. Матросы, под наблюдением капитана, спускали в море одну из наших двух шлюпок—к счастью, самую большую. Через другой борт корабля я увидел ярко освещенные пожаром крутые береговые утесы, которые спускаются к Любеку. Было добрых две версты до этих утесов. Я не умел плавать—место, на котором мы стали на мель (мы и не заметили, как это случилось), было по всей вероятности неглубоко, но волны были очень велики. И все-таки, как только я увидел скалы, уверенность, что я спасен, овладела мною—и к изумлению окружающих меня лиц, я несколько раз подпрыгнул и крикнул: «ура!» Я не захотел подойти ближе к тому месту, где толпа теснилась, чтобы добраться до лестницы, которая вела к большой шлюпке,—там было слишком много женщин, стариков

и детей; да я с тех пор, как увидел скалы, уже и не торопился больше: я был уверен, что спасен. Я с удивлением заметил, что почти никто из детей не выказывал страха, что некоторые из них даже засыпали на руках у матерей. Ни один ребенок не погиб.

Я увидел среди группы пассажиров высокого генерала; с платья его текла вода; он стоял неподвижно, опираясь на поставленную стоймия лавку, которую он только что оторвал. Мне сказали, что в первую минуту перепуга он грубо оттолкнул женщину, которая хотела опередить его и раньше него спрыгнуть в одну из первых лодок, опрокинувшихся потом по вине пассажиров. Один из служащих на пароходе схватил его в охапку и с силой отбросил назад, на судно, и старый солдат, устыдившись своей минутной трусости, поклялся сойти с корабля только последним, после капитана. Он был высокого роста, бледен, с кровавой ссадиной на лбу, и глядел вокруг взглядом сокрушенным и покорным, точно бы просил прощения.

В это время я приблизился к левому борту корабля и увидел нашу меньшую шлюпку, пляшущую на волнах, как игрушку; два находившиеся на ней матроса знаками приглашали пассажиров сделать рискованный прыжок в нее—но это было не легко: «Николай I» был линейный корабль, и нужно было упасть очень ловко, чтобы не опрокинуть шлюпку. Наконец, я решился: я начал с того, что стал на якорную цепь, которая была протянута снаружи вдоль корабля, и собирался уже сделать скачок, когда толстая, тяжелая и мягкая масса обрушилась на меня. Женщина уцепилась мне за шею и неподвижно повисла на мне. Признаюсь, первым моим побуждением было насилием перебросить ее руки через мою голову и таким образом отделаться от этой массы; к счастью, я не последовал этому побуждению. Толчок не сбросил нас обоих в море, но, к счастью, тут

же, перед моим носом, болтался, вися неизвестно откуда, конец веревки, за который я уцепился одною рукою, с озлоблением, ссаживая себе кожу до крови.... потом, взглянув вниз, я увидел, что я и моя ноша находимся как раз над шлюпкою и.... тогда с богом! Я скользнул вниз.... лодка затрещала во всех швах.... Ура! крикнули матросы. Я уложил свою ношу, находившуюся в обмороке, на дно лодки и тотчас обернулся лицом к кораблю, где увидел множество голов, особенно женских, лихорадочно теснившихся вдоль борта.

«Прыгайте!» крикнул я, протягивая руки. В эту минуту успех моей смелой попытки, уверенность, что я в безопасности от огня, придавали мне несказанную силу и отвагу, и я поймал единственных трех женщин, решившихся прыгнуть в мою шлюпку, так же легко, как ловят яблоки во время сбора. Нужно заметить, что каждая из этих дам непременно резко вскрикивала в ту минуту, когда бросалась с корабля и, очутившись внизу, падала в обморок. Один господин, вероятно, одуревший с перепугу, едва не убил одну из этих несчастных, бросив тяжелую шкатулку, которая разбилась, падая в нашу лодку, и оказалась довольно дорогим нессесером. Не спрашивая себя, имею ли я право распоряжаться ею, я тотчас подарил ее двум матросам, которые точно так же без всякого стеснения приняли подарок. Мы тотчас стали грести изо всех сил к берегу, сопровождаемые криками: «Возвращайтесь скорее! пришлите нам назад шлюпку!» Поэтому, когда оказалось не больше аршина глубины, пришлось вылезть. Мелкий, холодный дождик уже с час как моросил, не оказывая никакого влияния на пожар, но нас он промочил окончательно, до костей.

Наконец, мы добрались до этого желанного берега, который оказался не чем иным, как обширной лужей жидкой и липкой грязи, где ноги вязли по колено.

Наша лодка быстро удалилась и, так же, как и большая шлюпка, принялась сновать между кораблем и берегом. Пассажиров погибло мало, всего восемь: один упал в угольный трюм; другой утонул, потому что захватил с собою все свои деньги. Этот последний, имя которого я едва знал, играл со мною в шахматы в продолжение большей части дня и делал это с таким ожесточением, что князь W..., следивший за нашей партией, кончил тем, что воскликнул: «Можно подумать, что вы играете, будто у вас дело идет о жизни и смерти!»

Что касается до багажа, то он почти весь погиб, так же как и экипажи.

В числе дам, спасшихся от крушения, была одна г-жа I..., очень хорошенькая и милая, но связанная своими четырьмя дочками и их нянюшками; поэтому она и оставалась покинутой на берегу, босая, с едва прикрытыми плечами. Я почел нужным разыграть любезного кавалера, что стоило мне моего сюртука, который я до тех пор сохранил, галстука и даже сапог; кроме того, крестьянин с тележкой, запряженной парой лошадей, за которым я сбежал на верх утесов и которого послал вперед, не нашел нужным дождаться меня и уехал в Любек со всеми моими спутницами, так что я остался один, полураздетый, промокший до костей, в виду моря, где наш пароход медленно догорал. Я именно говорю «догорал», потому что я никогда бы не поверил, что такая «махинища» может быть так скоро уничтожена. Это было теперь не более, как широкое пылающее пятно, недвижимое на море, изборожденное черными контурами труб и мачт и вокруг которого тяжелым и равнодушным полетом сновали чайки—потом большой сноп золы, испещренный мелкими искрами и рассыпавшийся широкими кривыми линиями уже по менее беспокойным волнам. И только? подумал я: и вся на-

ша жизнь разве только щепотка злобы, которая разносится по ветру?

К счастью для философа, у которого начинал уже зуб на зуб не попадать, другой фурщик забрал меня. Он взял за это два дуката, но за то укутал меня в свой толстый плащ и спел мне две или три мекленбургские песни, которые мне довольно понравились. Таким образом я добрался до Любека на заре; тут я встретил своих товарищей по крушению, и мы отправились в Гамбург. Там мы нашли двадцать тысяч рублей серебром, которые император Николай, как раз находившийся тогда проездом в Берлине, прислал нам со своим адъютантом. Все мужчины собрались и общим голосом решили предложить эти деньги дамам. Нам было тем легче сделать это, что в те времена всякий русский, приезжавший в Германию, пользовался неограниченным кредитом. Теперь уже не то.

Матрос, которому я за свое спасение наобещал непомерную сумму от имени матушки, явился требовать от меня исполнения моего обещания. Но так как я не был вполне уверен, он ли это действительно, да и сверх того, так как он ровно ничего не сделал, чтобы меня спасти, то я предложил ему талер, который он и принял с благодарностью.

Что касается до бедной старушки-кухарки, которая так заботилась о спасении моей души, то я ее никогда больше не видал — но уж про нее-то наверное можно сказать, что сгорела ли она, или утонула, а место ее уже было уготовано в раю.

Буживаль, — 17 июня 1883 г.

Перепелка.

Мне было лет десять, когда со мной случилось то, что я вам сейчас расскажу.

Дело было летом.—Я жил тогда с отцом на хуторе, в южной России. Кругом хутора на несколько верст тянулись степные места. Ни лесу, ни реки близко не было; неглубокие овраги, заросшие кустарником, точно длинные, зеленые змеи, прорезали там и сям ровную степь. Ручейки сочились по дну этих оврагов; кой-где, под самой кручиной, виднелись роднички, с чистой, как слеза, водою; к ним вели протоптаные тропинки—и возле воды, на сырой грязце, перекрещивались следы птиц и мелких зверков. Им хорошая вода так же нужна, как и людям.

Отец мой был страстным охотником; и как только не был занят по хозяйству—и погода стояла хорошая—он брал ружье, надевал ягдаш, звал своего старого Трезора и отправлялся стрелять куропаток и перепелов. Зайцами он пренебрегал, предоставляя их псовым охотникам, которых величал борзятниками. Другой дичи у нас не водилось, разве вот осенью налетали вальдшнепы. Но перепелов и куропаток было много, особенно куропаток. По опушкам оврагов то и дело попадались разрытые кружки сухой пыли, местечки, где они копались. Старый Трезор тотчас делал стойку, при чем его хвост дрожал и кожа на лбу сдвигалась складками; а у отца лицо бледнело—и он осторожно взводил курки. Он часто брал меня с собою... большое это было для меня удовольствие! Я засовывал штаны в голенища, надевал через плечо

фляжку—и сам воображал себя охотником! Пот лил с меня градом, мелкие камешки забивались мне в сапоги; но я не чувствовал усталости и не отставал от отца. Когда же раздавался выстрел и птица падала, я всякий раз подпрыгивал на месте и даже кричал—так мне было весело! Раненая птица билась и хлопала крыльями, то на траве, то в зубах Трезора—с нее текла кровь, а мне все-таки было весело, и никакой жалости я не ощущал. Чего бы я не дал, чтобы самому стрелять из ружья и убивать куропаток и перепелов. Но отец объявил мне, что раньше двадцати лет у меня ружья не будет; и ружье он мне даст одностольное и стрелять позволит только жаворонков. Этих жаворонков в наших местах водилось множество; бывало, в хороший солнечный день целые десятки их вились на ясном небе, поднимаясь все выше и выше и звеня как колокольчики. Я глядел на них как на свою будущую добычу и прицеливался в них палочкой, которую носил на плече заместо ружья. Попасть в них очень легко, когда они в двух, трех аршинах от земли останавливаются в воздухе и трепещутся, прежде чем вдруг плюхнуть в траву.—Иногда далеко в поле, на жнивье или на зеленях торчали драхвы, вот, думалось мне, такую большую штуку убить—да после этого и жить не надо! Я указывал на них отцу; но он всякий раз говорил мне, что драхва—птица осторожная и человека близко не подпускает. Однако раз он попытался подкрасться к одинокой драхве, полагая, что она подстреленная и отстала от своего стада. Велел Трезору идти за ним следом—а мне так и вовсе осталось на месте; зарядил ружье картечью, еще раз обернулся к Трезору, даже пригрозился ему, шепотом скомандовал: «аррьеर! аррьеर!» скорчился в три погибели и пошел—не прямо к драхве, а стороною. Трезор хоть и не скорчился, но выступал тоже очень удивительно:

раскарякой—и хвост поджав и одну губу закусил.— Я не вытерпел и чуть не ползком отправился за отцом и Трезором. Однако драхва и на триста шагов нас не подпустила; сперва побежала, потом замахала крыльями и полетела. Отец выстрелил и только в след ей посмотрел.... Трезор вскочил вперед и тоже посмотрел. Посмотрел и я.... и так мне обидно стало! Что бы, кажется, ей еще немного подождать! Картечь непременно бы ее достала!

Вот однажды мы с отцом отправились на охоту—под самый Петров день. В то время молодые куропатки еще малы бывают, отец не хотел их стрелять и пошел в мелкие дубовые кустики, возле ржаного поля, где всегда попадались перепела. Косить там было неудобно—и трава долго стояла нетронутой. Цветов росло там много: журавлинного горошку, кашки, колокольчиков, незабудок, полевых гвоздик.—Когда я ходил туда с сестрой или с горничной, то всегда набирал их целую охапку; но когда я ходил с отцом, то цветов не рвал: я находил это занятие недостойным охотника.

Вдруг Трезор сделал стойку; отец мой закричал: «Пиль!» и из-под самого носа Трезора вскочила перепелка—и полетела. Только полетела она очень странно: кувыркалась, вертелась, падала на землю—точно она была раненая или крыло у неё надломилось. Трезор со всех ног бросился за нею.... он этого не делал, когда птица летела как следует. Отец даже выстрелить не мог, он боялся, что зацепит дробью собаку.—И вдруг смотрю: Трезор наддал—и цап! Схватил перепелку, принес и подал ее отцу. Отец взял ее и положил себе на ладонь, брюшком кверху.—Я подскочил.—Что это, говорю: она раненая была?—Нет, ответил мой отец; она не была раненая; а у неё, должно-быть, здесь близко гнездо с маленьками, и она нарочно притворилась раненой, чтобы собака

могла подумать, что ее легко поймать.—Для чего же она это делает? спросил я.—А для того, чтобы отвести собаку от своих маленьких.—Потом бы она хорошо полетела. Только на этот раз она не разочла, уж слишком притворилась—и Трезор ее поймал.—Так она не раненая? спросил я опять.—Нет.... но живой ей не быть.... Трезор ее, должно быть, давнул зубом.—Я пододвинулся ближе к перепелке. Она неподвижно лежала на ладони отца, свесив головку—и глядела на меня сбоку своим карим глазком.—И мне вдруг так жаль ее стало! Мне показалось, онаглядит на меня и думает: за что я умирать должна?—За что? Ведь я свой долг исполняла; маленьких своих старалась спасти, отвести собаку подальше—и вот попалась! Бедняжка я! бедняжка!—Несправедливо это! Несправедливо!

Папаша! сказал я, да может-быть, она не умрет.... и хотел погладить перепелочку по головке. Но отец сказал мне: Нет!—Вот посмотри: у ней сейчас лапки вытянутся, она вся затрепещется, и закроются ее глаза.—Так оно точно и случилось. Как только у ней закрылись глаза—я заплакал. Чему ты? спросил отец и засмеялся.—Жаль мне ее, сказал я. Она долг свой исполняла—а ее убили! Это несправедливо!—Она схитрить хотела, ответил мне отец. Только Трезор ее перехитрил.—Злой Трезор! подумал я.... да и сам отец показался мне на этот раз не добрым. Какая же тут хитрость? Тут любовь к детенышам—а не хитрость! Если ей приказано притворяться, чтобы детей своих спасать—так не следовало Трезору ее поймать! Отец хотел-было сунуть перепелку в ягдаш, но я ее у него выпросил, положил ее бережно в обе ладони, подышал на нее.... не очнется ли она?—Однако она не шевелилась.—Напрасно, брат, сказал отец, ее не воскресишь. Виши, головка у ней болтается.—Я тихонько приподнял ее за носик; но только

я отнял руку—головка опять упала. Тебе все ее жаль? спросил меня отец.—А кто же маленьких кормить будет? спросил я в свою очередь.—Отец пристально посмотрел на меня. Не беспокойся, говорит, самец-перепел, отец их, выкормит. Да вот постой, прибавил он, никак Трезор опять стойку делает.... уж это не гнездо ли? Гнездо и есть.

И точно.... в траве, в двух шагах от Трезоровой морды, тесно, рядышком лежали четыре птенчика; прижались друг к дружке, вытянули шейки—и все так скоро, в один раз дышат.... точно дрожат! А уж оперились; пуху на них нет—только хвостики еще очень короткие.—Папа! папа! закричал я благим матом.... отзови Трезора! а то он их тоже убьет!

Отец крикнул на Трезора и, отойдя немного в сторону, присел под кустик, чтобы позавтракать. А я остался возле гнезда, не захотел завтракать. Вынул чистый платок, положил на него перепелку.... «Смотрите-мол, сиротки, вот ваша мать! Она собой для вас пожертвовалась!» Птенчики попрежнему дышали скоро, всем телом. Потом я подошел к отцу.—Можешь ты мне подарить эту перепелочку? спросил я его.—Изволь. Но что ты хочешь с ней сделать?—Я хочу ее похоронить.—Похоронить?!—Да; возле ее гнездышка. Дай мне твой нож; я ей могилочку вырою.—Отец удивился.—Чтоб детки к ней на могилу ходили? спросил он.—Нет, отвечал я; а так.... мне хочется.—Ей будет тут хорошо лежать, возле своего гнезда.—Отец ни слова не промолвил; достал и подал мне нож. Я тотчас же вырыл ямочку; поцеловал перепелочку в грудку, положил ее в ямочку—и засыпал землею. Потом я тем же ножом срезал две ветки, очистил их от коры, сложил их крестом, перевязал былинкой и воткнул в могилку.—Скоро мы с отцом пошли дальше; но я все оглядывался.... Крест был беленький—и далеко виднелся.

А ночью мне приснился сон: будто я на небе; и что же? На небольшом облачке сидит моя перепелочка, только тоже вся беленькая, как тот крестик! И на голове у ней маленький золотой венчик; и будто это ей в награду за то, что она за своих детей пострадала!

Дней через пять мы с отцом пришли опять на то же место.—Я и могилку нашел по кресту, который хоть и пожелтел, но не свалился.—Однако гнездышко было пусто, птенчиков ни следа. Мой отец меня уверил, что старики их увел, их отец;—и когда, в нескольких шагах оттуда, вылетел из-под куста старый перепел, он его стрелять не стал.... И я подумал: «Нет! Папа добрый!».

Но вот что удивительно: с того дня пропала моя страсть к охоте, и я уже не думал о том времени, когда отец подарит мне ружье! Однако, когда я вырос, я тоже начал стрелять; но настоящим охотником никогда не сделался. Вот еще, что меня отучило.

Раз, мы вдвоем с товарищем охотились на тетеревов. Нашли выводок. Матка вскочила, мы выстрелили и попали в нее; но она не упала, а полетела дальше, вместе с молодыми тетеревятами. Я-было хотел пойти за ними, но товарищ сказал мне: «Лучше здесь присесть и подманить их.... все сейчас здесь будут». Товарищ отлично умел свистать, как свищут тетерева. Мы присели; он стал свистать.—И точно: сперва один молодой откликнулся, потом другой и вот слышим мы: сама матка квохчет, да нежно так и близко. Я приподнял голову и вижу: сквозь спутанные травяные былинки идет она к нам, спешит-спешит, а у самой вся грудь в крови! Знать, не вытерпело материнское сердце! И тут я самому себе показался таким злодеем!... Встал и захлопал в ладоши. Тетерка тотчас же улетела—и молодые за-

тихли. Товарищ рассердился, он за сумасшедшего меня счел... «Ты, мол, испортил всю охоту!»

Но мне с того дня все тяжелей и тяжелей стало убивать и проливать кровь.



